

МАРИНА ЛИТВИНОВА

## “ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ?..”

*Воспоминания о Ю. П. Казакове*

**1961 год. ОСЕНЬ И ЗИМА. ОПЯТЬ ПЕЧОРЫ. МОСКВА.**

Жить в Москве негде, в институте я не работаю, значит, можно опять собраться в поход. В Печоры нас, как магнитом, тянуло. И вот 17 сентября опять сели в поезд Таллин–Москва, у меня до сих пор сохранились три билета до Петцери. Едем втроём: Юра, я и его мама Устинья Андреевна. Юра так ярко описывал этот прелестный городок, что и ей захотелось на него взглянуть. В тот раз мы сняли комнаты в разных домах. Мы с Юрой – у одного местного инженера, Устинья Андреевна – у какой-то богомольной старушки. Устинья Андреевна много времени проводила в монастыре. Иногда приходила к нам. Однажды спросила меня, ела ли я когда-нибудь овсяный кисель. Я знала, что есть и такой кисель, но никогда не пробовала. И Устинья Андреевна сварила нам это старинное крестьянское кушанье. Сначала замочила сухие овсяные зерна, так они стояли, наверное, сутки, пока не прокисли. Затем отжала их и поставила полученную кислую жижу варить. И получился крутой кисель. Мы его ели с молоком. С молоком есть можно, а так он невкусен.

В тот раз в Печорах я впервые заметила, что Юра как будто слишком привержен к вину. Он опять что-то писал, наверное, повесть “Нестор и Кир”. Но утром, перед тем, как сесть за машинку, до завтрака, до прихода мамы, обязательно выпивал стакан вина. И мне показалось, что без этой выпивки начать свой рабочий день он не может. А за ужином, после прогулки, опять возлияние. Мама сердилась, он отшучивался. И однажды я сказала ему: “Юрочка, давай проверим, сможешь ли ты не пить. Ведь если тебя тянет выпить, это может перейти в болезнь. Попробуй одну неделю не пить. Сможешь выдержать, значит, всё прекрасно, беспокоиться не о чем”. Я говорила очень мягко, по-доброму озабоченно, и Юра не рассердился. Даже пошёл на этот эксперимент, и всю неделю капли в рот не брал. В субботу куда-то отлучился, я стала мыть в нашей комнате пол. Кровать, на которой он спал, была лёгкая, отодвинув её, я увидела целую батарею бутылок, пустых и полных. Когда он вернулся, я показала ему бутылки. Он не рассердился, не расстроился. Засмеялся и говорит: “Не волнуйся, со мной всё в порядке, я не алкоголик.

---

Окончание. Начало в №10 за 2020 год.

Хочется выпить – пью, не хочется – не пью”. И дальше продолжал пить, уже не таясь. Тогда я не знала, что это обычное объяснение пьющих людей.

Почему-то среди архивных бумаг я нашла билет на поезд № 34 Москва–Таллин, на котором число – 16 октября 1961 года. Значит, кто-то из нас уехал почему-то в Москву и вернулся. Гадай теперь, откуда взялся этот билет. Есть ещё один билет на ленинградский поезд. Из него явствует, что 27 октября в Ленинград. Точнее, это не билет, а квитанция о доплате к билетам 0762 и 0763 “за купе на двоих”. Доплата 2 рубля 80 копеек.

Была поздняя осень. В Ленинград приехали вечером в тот же день и поспешили в “Октябрьскую” гостиницу, сняли на одну ночь два номера. (Есть два счёта, вот как выглядит первый: “Получено в счёт расчётов за комнату от гр. Белосельской МД / Дата 27/Х / № комнаты 578 / К-во суток 1 / Сумма 3 / Сумма прописью Три руб.”). Затем поехали в Союз писателей. Там Юру встретили друзья с распростёртыми объятиями и сразу сели пить. Пили долго и крепко, так что в гостиницу в тот вечер мы не поехали, нас пригласил переночевать незнакомый человек, у которого была большая квартира. Наутро пошли ходить по городу. Поздней осенью, когда листья опали, и кроны сквоят, любоваться Ленинградом особое удовольствие. Юра водил меня по местам, которые хорошо знал и любил: Невский, Казанский собор, мосты. Зашли просто так в огромный универсальный магазин, пили кофе в какой-то исторической кофейне. Настроение у меня было скверное. Юра был накануне до неприличия пьян, и вид у него был хмурый. Ночевали ту ночь в гостинице, в разных номерах. Пасмурным холодным утром поехали на Московский вокзал. А приехав в Москву, опять разъехались по своим домам.

Я опять в Покровском–Стрешневе, перевожу Томаса Гарди. А Юра уехал в голицынский Дом творчества. Голицыно всегда действовало на него угнетающе, он пил, ему вспоминался Иосиф Герасимов, Домбровский – алкогольный бред, а может быть, и осенняя хандра. И он писал мне горькие и обидные письма. От этого времени осталось только два его письма и несколько моих, не отосланных. Наверное, какое-то моё письмо всё же было послано, но у меня его нет.

18 ноября Юра пишет мне такое письмо:

“Во-первых, не пиши мне, что я замечательный писатель.

Во-вторых, не пиши мне исторических писем.

Вчера ночью шёл у нас снег. А сегодня утром было солнце, и на всех ёлках и вообще ветках – на каждой было по шапке снега. А ещё: “Ореон” пишется так: “Орион” <”и” подчеркнуто>. Это только пеон скотовод пишется через “е”. Я просил у ОПХ денег. Но она, зануда, не дала. Когда я её вижу, мне хочется ей сказать: ти-ти-ти-ти-ти... У меня в комнате так жарко, что я нынче ночью просыпался несколько раз мокрый, как мышь. Как будто я выпил пять таблеток аспирина.

Компания здесь тухлая, одни евреи, невыразительные и скучные, как я, когда просыпаюсь утром с похмелья.

Но приехал я сюда не напрасно, тут снег, а в Москве нету. Тут воздух, а в Москве нету. Тут скука, и рано или поздно я начну что-нибудь писать.

Если тебе в декабре нечего будет переводить, я тебе дам работу. На этот раз твёрдо. Меня приглашал на этот счёт один Акоп <замредактора “Дружбы народов”>, у него есть какая-то повесть листов на восемь. Я возьму и дам тебе.

Не робей!

Хоть я тебя и не люблю больше, но работёнку буду иногда подбрасывать.

Ты мне не звони, а то, как говорит Коринец, я “травмируюсь”. Мне сразу хочется выпить и т. д.

Писать тебе я буду каждое первое число нового месяца. А проживу я тут до лета.

Вот так.

Будь здорова, не пей водки. Пей коньяк.

Голицыно. 18 ноября.

<дальше ручкой> Юрий

Конверт я так и быть твой использую на тебя, раз ты его надписала. А бумага пойдёт на любовную записку какой-нибудь женщине. Очень хорошая бумага” (Орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Вот такое письмо получила я в конце ноября. Судя по почерку, Юра, когда писал, был в сильном подпитии – буквы прыгают вкривь и вкось. На него всё давило: осень, нет хорошей компании, безденежье и отсутствие хоть какой-то радужной перспективы. До лета в Голицыне на казённых харчах... Хотя кормили в Голицыне неплохо, но это всё же не домашняя пища. Раздражение против меня в какой-то мере и оттого, что мы, бездомные, опять врозь. Словом, впереди тьма. Я не обиделась на это письмо, понимала: скверное настроение пройдет, и жизнь вернётся в свою колею. А 30 ноября он пишет ещё одно письмо. Совсем плохое.

“Марина!

Я только что был во второй комнате на втором этаже. Я там сидел у Юрика-старичка <Коринец>.

Поэтому я тебя очень буду просить не писать мне сюда и не звонить. Как-то мне это не доставляет удовольствия, понимаешь? Кроме того, здесь Домбровский, который не раз вспоминал тебя в пьяном виде. Как он тебя вспоминал – тебе, надеюсь, понятно.

Несмотря ни на что, я всё же рад, что твоя работа подвигается к концу, и вообще желаю тебе самого лучшего.

Итак, давай сделаем некоторый перерыв в нашем знакомстве.

Привет!

<От руки> Юрий

Голицыно 30 ноября 61” (Орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Это письмо было для меня шоком. И всё же, несмотря на резкий, оскорбительный тон, который должен был бы привести к разрыву, и в этом письме был лучик надежды для меня и лазейка для Юры. Был в нём посыл, что не всё ещё кончено. Я это поняла, и меня больше расстроили не слова “я тебя больше не люблю”, а самый факт написания такого письма очень близкому человеку. Я тут же села писать ответ. Написала три письма, но не послала, потому что ни на одном конверте нет почтового штампа. Наверное, было и четвертое, отосланное, но ко мне оно не попало. Вот последнее письмо:

“Юра! Я знала, что твоё водворение в Голицыно не принесёт ничего хорошего. Но я думала, что это не так плохо. Вот какие мои соображения: либо тебе надо немедленно уехать из Голицына, либо мы с тобой расстанемся, и не до мая, а на всю жизнь. Мы с тобой прожили как муж и жена около (3 декабря – ровно) полутора лет. Ты считаешь, меньше, потому что ты не с самого начала относился ко мне, как стал относиться потом. И вот что я скажу. Всё это время я была тебе преданным другом, любила тебя так, как редко бывает. И ты сам это знаешь. Не было ни одного случая, чтобы я оказалась для тебя занятой, нездоровой, взамен не требуя решительного ничего; и эти такие насыщенные прекрасным месяцы оказались для тебя ничем по сравнению с одной неделей в Голицыно! Здесь можно сделать один вывод: ты человек больной. И только этим можно оправдать твоё злопамятство и неджентльменское поведение, когда ты позволяешь пьянице <имеется в виду Домбровский> чернить меня в своём присутствии (а интересно знать, что он говорит насчёт той оплеухи, что я закатила ему за его некорректность). Ни один здравомыслящий человек не станет корить любимую женщину прошлым, если её настоящее в течение долгого времени безукоризненно. И все твои рассуждения об идеальной женщине, прости меня, бред. Тебе пора понять, что такое идеалы и для чего они служат, их силу, целесообразность. Я не боюсь того, что ты болен. Я люблю тебя. Но поскольку общение со мной доставляет тебе такие муки, то из чистого человеколюбия говорю: мы должны с тобой расстаться. Мне ужасно плохо сейчас. И писать тебе подобное я решила только потому, что представила себе, как скверно должно быть тебе, если ты решился написать мне подобное письмо в разгар моей работы, зная, что это здорово выбьет меня из колеи.

Вот и всё. Реши сам, как лучше, и дай мне знать.

Марина

12. 61”.

Письмо это, как и два предыдущих, было запечатано в конверт, на этом конверте даже есть марка. Нет только штемпеля. Конечно, такое резкое письмо я просто не могла Юре послать. Посланное, наверное, было гораздо мягче, ничего не было, наверное, про болезнь.

А в самом начале января 1962 года получаю новогоднюю открытку из Голицына, на которой шагает Буратино, держит за руку медвежонок, на плече у него ёлка, в небе звёзды, ели в снегу, на сучке – две белки, а впереди летит, распластав крылья, птичка. И вот что на другой стороне написано:

“Марина!

Пусть Новый Год будет для тебя годом радостей, пусть мы с тобой, как эти два хмыря на обороте, пойдём куда-нибудь широкими шагами!

Пусть у тебя будет много переводов, денег, времени, здоровья и пусть у тебя никогда не болит голова.

Будь счастлива, милая старуха и не поминай меня лихом! Твой Ю. К.”  
(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Кончилась чёрная осень, за окном побелело, вылетел из головы хмель, и Юра стал опять моим дорогим любящим и любимым человеком.

Печатаю я сейчас это Юрино послание, и по щекам текут слёзы. Меня отделил от него полвека. И всё ещё больно, что не получилось у нас “широкими шагами” идти вместе до конца жизни.

Столько хорошего было в 1961 году, что оно вымарало горечь последних полтора месяцев. Начался год 1962-й, и он весь был очень, очень счастливый.

### 1962 год. ТАРУСА, ЗИМА–ВЕСНА

Вернувшись из Голицына, Юра решил конец зимы и весну жить и работать в Тарусе. Был, наверное, конец января. И он стал искать какое-нибудь жильё. Он уже бывал в этом милом городке на Оке, где осели по разным причинам люди из тогда ещё не очень далёкого царского прошлого. С Тарусой его познакомил Ф. Д. Поленов, внук знаменитого русского художника второй половины XIX века Василия Дмитриевича Поленова. Юра гостил в Поленово осенью 1960 года, и Фёдор Поленов, поехав как-то по делам в Тарусу, взял с собой Юру, о чём пишет в своих воспоминаниях Михаил Михайлович Мелентьев, человек удивительной судьбы. О нём можно прочитать в интернете, там же есть его воспоминания, очень интересные, – “Мой час и моё время”.

Зимой дом пустовал, зимовала в нём его домработница, кроткая старушка по имени Настасья Филипповна. Вот что он пишет в своих воспоминаниях: “(1960 г<од>. 25 октября) Днём зашёл попрощаться молодой писатель Юрий Казаков. Его книжка “Манька” с 8 небольшими рассказами очень мне понравилась. Осень он прожил где-то в глуши. Обслуживал сам себя и работал над второю своею книжкою. Кряжист. Некрасив. Ласковые близорукие глаза. Заикается. Учился музыке. Его в конце лета привёл ко мне Федя Поленов. Он же принёс мне для прочтения его книгу. Признанья и денег у Казакова ещё нет, но я верю, что читать его будут” (с. 614). Вот таким виделся Ю. П. Казаков в свои 32 года старому русскому интеллигенту. Думаю, что Фёдор Поленов попросил М. М. Мелентьева дать пристанище на зиму молодому писателю Юрию Казакову. М. М. охотно согласился, пустил нас жить у него в доме бесплатно, попросил только платить зарплату его домработнице. Мы были счастливы, осенняя размошка забыта.

Начались сборы. Зима в самом разгаре. Значит, можно ходить на лыжах. Юра даёт мне задание купить ему и себе лыжи с ботинками. Покупаю в спортивном магазине на Кировской отличные – деревянные, длинные, лёгкие – лыжи, ботинки к ним и лыжную мазь. К тёплой куртке пришиваю серый каракулевый воротничок, не столько для тепла, сколько для красоты. Лыжные брюки есть, ещё тёплый свитер, голубой фланелевый халат, обшитый по воротнику белой каймой и подчёркивающий талию, и, конечно, толстые шерстяные носки. У Юры тоже есть всё для лыжных прогулок и для жизни зимой в загородном доме с печным отоплением. Едем в электричке, на плечах – рюкзаки, в руках – лыжи и сумки. Едем надолго, но на этот раз в город, пусть и небольшой, – в нём можно купить и еду, и курево, и водку.

Этого дома, к сожалению, сейчас нет. Его снесли в восьмидесятые годы местные власти. Я очень хорошо помню мелентьевский дом-музей. Он находился в центре города, на площади в более высокой части Тарусы; при нём

был фруктовый сад и огород. Доехали на электричке до Серпухова, сели в автобус, идущий в Тарусу, и часа через полтора были на месте. В доме было уютно и тепло. Михаил Михайлович письмом сообщил Настасье Филипповне дату нашего проезда. Мы заняли две комнаты – большую, где стоял рояль, на котором играл Игумнов, и поменьше – спальню. Была ещё комната-музей, кабинет Михаила Михайловича. В ней камелёк, в глубине слева – старинный книжный шкаф с застеклёнными дверцами, полный редких книг дореволюционного издания. На одной из полок – бесценная фарфоровая статуэтка балерины Анны Павловой. Ещё там были оббитый штофом диван на гнутых ножках и красного дерева небольшой стол со столами-вкладышами мал-мала меньше, замечательная коллекция миниатюр. Как поднимаешься со двора по ступенькам, справа – веранда, а войдёшь в дом – длинный коридор. Слева – вешалка для верхней одежды, затем дверь в уборную – удобства в доме, хотя канализация нет. Это маленький чулан, в нём к дальней стене примыкают два деревянных ящика с откидывающимися крышками. В левом – ведро с золой и небольшим совком, в доме несколько печей и золы предостаточно. Была и мансарда, крошечная тёмная комната, зимой нежилая. В кухне – плита, окно выходит в заснеженный сад. На ветках – красногрудые снегири; в маленькую всегда открытую форточку возвращается с гулянья желтовато-бурый пушистый кот, глаза у него зелёные, точно такого цвета, как стволы осин, особенно когда их заливают солнце.

Солнечным морозным утром Юра иногда решал, что сегодня едем на лыжах. Надевали лыжное обмундирование – лыжные ботинки, тёплые носки, брюки, свитер, куртку, натирали лыжи мазью. И шли вверх, за город, и через поле к лесной опушке. У меня есть фотография, где мы сидим на поваленном дереве, зима, край леса. Юра хорошо ходил на лыжах, после него лыжня оставалась ровная, а после меня виляла. Идёшь, пахнет снегом, хвоей, тихо, на еловых лапах – снежные шапки, и кругом ни души.

Потом мы жили на другой квартире. Михаил Михайлович сам собирался весной обосноваться в Тарусе. Приехал, посмотрел, как мы живём, и очень расстроился. Чтобы брать книги, стоявшие в шкафу, я убрала с полки статуэтку балерины и бережно поставила её на стол. Оказывается, этого категорически нельзя было делать. Вдруг бы статуэтка разбилась, а ей цены нет. Ну, словом, пришлось искать другую квартиру, но с Михаилом Михайловичем мы не поссорились. И летом не раз пили у него на веранде чай.

Новое жильё занимало одну половину дома. У нас был отдельный вход, большая веранда, большая комната, и был даже свой двор, где весной Юра сделал небольшую грядку, и мы посадили редиску, укроп и салат. Редиска вся пошла в стебель, а укроп и салат получились хорошие. Хозяева дали нам кое-какую посуду, Александровы – примус и тоже что-то из посуды. Мы обзавелись полотенцами, постельным бельём. И зажили не хуже, чем в доме М. М. Мелентьева.

В те годы в Тарусе доживали свой век или наезжали окунуться в провинциальную тишь последние могикане дореволюционной России. Единокровная сестра Марины Цветаевой Валерия Ивановна Цветаева, дочь Марины Цветаевой Ариадна, скульптор Надежда Васильевна Файдыш-Крандиевская, сестра Натальи Васильевны Крандиевской, второй жены Алексея Толстого; Нашатырь, бывший политзаключённый, человек очень добрый и очень образованный. Были ещё две старые дамы, они жили в верхней части Тарусы в собственном двухэтажном доме. Занимали внизу две комнаты – не было дров, чтобы топить весь дом. Мы как-то пили у них чай. В комнате полусумрак, тёмная старинная мебель – шкаф, буфет, стол, стулья, дедовский чайный сервиз. Бедность, от которой щемит сердце, одиночество, но старые дамы веселы и приветливы, угощали нас печеньем, которое испекли сами.

Заходили мы и к Валерии Ивановне с кем-то из её друзей. Это была маленькая милая старушка, лицо со следами былой красоты (мать у неё была красавицей), приветливая и гостеприимная. А с Ариадной Сергеевной Цветаевой мы познакомились в доме писателя Н. В. Богданова. Ариадна Сергеевна – высокая, молчаливая женщина с мужскими чертами лица, на котором никогда не появлялась улыбка. Что мы тогда о ней знали? Это теперь, прочитав дневники и письма Марины Цветаевой, воспоминания других эмигрантов, я представляю её мученическую жизнь и силуюсь вспомнить хоть какие-то её слова. И не могу вспомнить. Она только что издала первый в России поэтический

сборник матери – небольшую книжку – и подарила одну нам с Юрой. Я подарила эту книгу моей американской подруге Шарлоте Сайковски, о чём жалею сейчас.

Частыми гостями были мы в доме Николая Владимировича Богданова. Его жена Вера Дмитриевна была одной из первых московских красавиц. Она вспоминала: “Когда мы с моим первым мужем, комкором (командир корпуса), ходили в Большой театр и сидели в ложе, муж говорил мне, “Верочка, занавесь лицо, чтобы люди смотрели на сцену, а не на тебя”. Она была кузиной известных сестёр Синяковых, одна из которых была замужем за поэтом Асеевым, другая – ещё за каким-то видным лицом. В шестидесятые годы Веры Дмитриевне было уже за семьдесят. Но лицо её всё ещё было красиво: открытый чистый лоб, точёный носик, соболиные брови, большие карие глаза. В Москве Богдановы жили в том же, что и Ольга Петровна, писательском доме на улице Чернышевского. Большая трёхкомнатная квартира, огромный кабинет Николая Владимировича, над его письменным столом – портрет Веры Дмитриевны работы художника Корина. Все стены затянуты книжными застеклёнными полками. Вера Дмитриевна собирала русские журналы восемнадцатого и девятнадцатого века и первые издания русских писателей.

Однажды Вера Дмитриевна спросила Юру при мне:

– Почему, Юра, вы не женитесь на Марине?

Юра ответил:

– Спросите лучше у Марины, на мне так легко жениться. – На этом разговор был окончен.

В самом деле, почему? Если женщина хочет выйти замуж за кого-то, она, как правило, умеет добиться своего, не мытьём, так катаньем. И вот теперь я думаю, хотела ли я в самой последней глубине души стать женой Юрия Казакова? Помню, жена Евтушенко Галя в разговоре о наших с Юрой отношениях сказала как-то: “Вам ни в коем случае нельзя расставаться. Живя с известным писателем, привыкаешь к такой жизни, к его друзьям, окружению. Нет, расставаться никак нельзя”. У меня этого привыкания не было. А жена Смелякова советовала пить с Юрой, чтобы упрочить отношения. Но жизнь моя и за пределами оазиса “Юрий Казаков” была полнокровна. Мои творческие, научные, семейные интересы лежали вне его. Не знаю, что тогда сидело в моём подсознании, какое понятие руководило именно таким устройством жизни. Была любовь, то есть полное созвучие разнообразных желаний, иногда только огорчали ссоры по причине Юриногo питания.

Перед домом в Тарусе росли высокие липы, в апреле весна зримо заявила о себе – чёрные ветви лип зарозовели. Почki набухали и стали красными. Юра вскопал грядку, граблями разрыхлил, и мы посеяли редиску, укроп, салат. С наступлением тёплых дней начались дальние прогулки. Наш дом находился на верхней террасе, несколько шагов – и мы в поле, повернёшь налево – и просёлок убегает в лес. Ходили далеко, дышали весенними запахами. И всё же не так далеко, жалели, что надо возвращаться, манили дальние окрестности Тарусы. Однажды спугнули греющуюся на солнце гадюку. Гадюки не нападают на человека, они боятся его, надо только не наступить.

Открылся сезон охоты. Под Тарусой никаких экзотических птиц вроде глухарей, только вальдшнепы. Вышли на охоту часов около пяти. Довольно холодно, одеты в куртки. Нашли большую поляну, кругом осины, берёзы, орешник, лес только-только начинает зеленеть. Юра поставил меня на краю поляны и велел стоять тихо, не шевелиться и не двигаться с места, а сам углубился в заросли. Эта охота потом отразится в рассказе “Плачу и рыдаю”. На моих глазах постепенно густеют сумерки, сначала ясно вижу на той стороне поляны каждую ветку в кронах деревьев. Очень тихо, ни ветерка. Стою неподвижно полчаса, час, тени удлиняются, воздух становится сизым, начинают гомонить птицы. Заметно темнеет, кроны дальних деревьев перестают сквозить. У меня чувство полного единения с природой, будто я дерево или куст. Вдруг слышу – выстрел, шорох веток, хруст валежника. Из лесу, наконец, появляется Юра, ружьё наперевес. Попал в вальдшнепа, тот упал, но затерялся в кустарнике, так Юра его и не нашёл. Молча идём обратно, в душе покой. Опять поляна. Справа вижу какую-то перекладину на довольно высоких столбах, пригляделись, а это лосиха, высокая, с большой головой, повернутой в нашу сторону, а рядом с ней перекладина пониже – лосёнок. Юра тихо говорит: “Уносим ноги, старуха. Лосиха, если с лосёнком, может напасть”. Припустились чуть не

бегом, и скоро деревья скрыли нас от коренных лесных обитателей. Больше меня Юра на охоту в Тарусе не брал.

У меня сохранились конверт от письма из Москвы, полученного 14 марта, от кого-то с Ленинского проспекта, адрес напечатан на машинке мелкими буквами: “Таруса, Калужск. обл., Пушкинская ул. 1. Юрию Павловичу Казакову” и клочок бумаги, исписанный Юрой. На конверте, на обратной стороне, список того, что надо купить, написано моей рукой: “Лук 3 кг. Сахар 2 кг. Картошка 5 кг. Аптека, лекарство (викалин). Почта, конверты 10 шт. Чернила для авторучки. Чай 2 пачки. Мыло хоз. и туалетное, масло постное, кислая капуста, хлеб, соль”. Ходил за товаром Юра со своим рюкзаком – магазины в центре, а мы жили наверху, на окраине.

А на клочке бумаги слева колонка с надписью “сделано”, справа – “надо сделать”.

Сделано	Надо сделать
Очерк о Закопане	Калевала
Статья о Паустовском	Март
Перевод с якутского	Оттаяв. земля
Рассказ “Двое в дек.”	Про щенка
	Возраст

Трудно теперь сказать, что было тогда в Юриных замыслах, во что вылились эти названия: “Март”, “Оттаявшая земля” (это, скорее всего, про Север), “Про щенка” (Юра всегда хотел завести собаку. Очень любил стихотворение Бунина, в котором последняя строка “Хорошо бы собаку купить”), “Возраст”. Перечитываю начатое им и не конченное, и не нахожу ничего, что соответствовало бы этим названиям. Не очень много начатого, но всё прекрасно. Вот хотя бы “Смерть, где жало твоё?” Помню, Юру очень волновали эти слова. Но рассказ, мысли, настроение не соответствуют ни одному году из наших пяти. Хотя, возможно, “Возраст” – условное название для антивоенной повести, которую Юра задумал тогда писать. Ему тридцать четыре года. Он пишет Конецкому из Тарусы, что повесть “очень выходит необычная – с философией, прошлым, настоящим и будущим и называется так: “Возраст Иисуса Христа”. Герою теперь тридцать три года, герой этот, – признавался Казаков, – в большой мере – я. О ком же писать кроме?” Хорошо помню куски, которые Юра давал мне читать. Но написал он тогда только зачин – о тринадцатилетнем мальчике Коле, который дальше в повести – солидный мужчина тридцати трёх лет: “Теперь Колю все зовут Николаем Петровичем. Ему тридцать три года, и когда его спрашивают, сколько ему лет, и он отвечает, то почти всегда он слышит одно и то же: “О! Возраст Иисуса Христа!” Я помню, как Юра читал этот кусок, хорошо помню интонацию, когда он произносил последние, в кавычках, слова.

Почему Юра перестал писать эту повесть? Наверное, не было ещё продолжения жизни. Он вернулся к ней, когда жизнь обрела покой и остойчивость, когда он мог искренне и сердечно написать: “Он не один в этой жизни. Рядом с ним жена, ровно и постоянно любимая им женщина, и его сын, в котором он с острой нежностью угадывает свои и её черты, потом его друзья и родные, потом его работа, его детали из стали, бронзы и меди, простых и сложных конфигураций, которые, наверное, уже миллионами разошлись по всему свету и составляют различные чудесные машины, потом небо, земля и трава, и ветер”. Вот и всё. Это написано уже в семидесятые годы. Николай Петрович назван Николаем Ивановичем. Продолжения нет, наверное, потому что пока ещё опять нет будущего. Будущего не было и у его семейной жизни. Могу только догадываться, что его жене Тамаре было с ним нелегко, она моложе, с ребёнком. Конечно, она тоже без памяти его любила, но и этот союз, оформленный официально и скреплённый дорогим сыном Алешёй, всё же, в конце концов, распался. И Юра последние лет десять жил в Абрамцево одиноко, с матерью, единственной женщиной, оказавшейся верной ему до конца его дней.

Уже третий месяц живём мы вдали от московских соблазнов. Юра получает много писем, приходят они и на домашний адрес, и на почту, до восстребования. Вот письмо из “Пионерской правды”. Литсотрудник Людмила Григорьевна Савоненкова пишет 4 апреля: “Уважаемый Юрий Павлович! Мы

обращаемся к Вам с большой просьбой. Как-то Вы выступили у нас с рассказом в газете. И мы очень просим сделать что-нибудь для нас. Может быть, у Вас есть уже готовые рассказы. Будем рады получить от Вас ответ. Мы звонили Вам по московскому адресу, и нам посоветовали написать в Тарусу. С уважением / Литсотрудник / Л. Савоненкова". Это письмо хранится в моём архиве, оно на специальном бланке газеты "Пионерская правда" со всеми его атрибутами, который сам по себе – интересный документ эпохи.

Вот ещё письмо из "Дружбы народов" (14 апреля 1952 года). Редактор Акоп Салахян пишет: "Дорогой Юрки! Получил Ваш очерк – закалевался! Очень здорово, очень песенно, не знаю, можно ли об этом написать ещё по-другому. Большое, большое спасибо! С ходу решили – даём в № 6! А "Белый поток" – в № 7". Есть письмо из Рима от переводчика, и очень интересное, длинное из Всесоюзного объединения "Международная книга". Ю. Н. Градов сообщил в нём, что в Италии и ФРГ вышла Юрина книга "На полустанке" в переводе соответственно на итальянский и английский. Итальянскую книжку мы уже держали в руках в Марфино. Есть два письма от Александра Лазаревича Лесса из журнала "Вопросы литературы". Вот первое. "Москва 1952 г<од>. Дорогой Юрий Павлович! Обращаюсь к Вам с огромной просьбой – срочно заполнить предлагаемую "Литературную анкету" и выслать мне её обратно. Анкета будет опубликована в ближайшем номере журнала "Вопросы литературы", целиком посвящаемом молодым писателям. Кроме Вас, в анкете участвуют Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Ю. Семёнов. Буду Вам бесконечно признателен, если Вы откликнетесь на мою просьбу.

Желаю Вам доброго здоровья и всяческих успехов.

Искренне уважающий Вас

Ал. Лесс

(на обороте)

P. S.: Журнал "Край рад" опубликовал вашу статью о Паустовском, а я иллюстрировал её портретом Константина Георгиевича. Нужен ли Вам этот журнал? Могу Вам его выслать. Напоминаю адрес: Москва – центр, улица Забелина № 3, кв. 8. Александру Лазаревичу Лесс.

Ал. Л."

Юра тут же отстучал на машинке ответы и послал их Лессу. Значит, к этому времени написана уже и статья о Паустовском. 16 июня Лесс отвечает:

"Дорогой Юрий Павлович!

Во-первых, позвольте поблагодарить Вас за быстрое исполнение моей просьбы. Ответы Ваши умны и интересны – материал уже сдал в набор без каких-либо поправок, переделок, сокращений. Во-вторых, посылаю Вам Ваш портрет и журнал. Полагаю, что теперь я перед Вами чист и безгрешен.

Хочется мне от всего сердца пожелать Вам бодрости, сил и уверенности в себе.

Уважающий Вас

А. Лесс.

P. S.: Не понимаю, как вы можете жить на даче в такую мерзопакостную погоду?!

Ал. Л.

<На полях> P. P. S.: Пожалуйста, подтвердите открыткой получение этого пакета, чтобы я не волновался. Ал. Л."

Вот ответ Юры на второй вопрос анкеты. Вопрос: "Какие проблемы, характеры, конфликты современности Вы считаете актуальными? Как Вы изучаете жизнь, как собираете материал для своих произведений?" Ответ: "Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов – вот некоторые проблемы, которые меня занимают. Эти же проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях наших прозаиков и поэтов. Жизнь специально я не изучаю и материалов не собираю, кроме тех случаев, когда едешь по заданию редакции. Я вообще не понимаю этого термина – "изучение жизни". Жизнь можно осмысливать, о ней можно размышлять, но "изучать" её незачем – нужно просто жить.

Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два – иногда много времени спустя после поездки. Но это выходит как-то само собой".



Перечисленные темы отражают состояние души Юры в тот год, что видно из рассказов “Осень в дубовых лесах”, “Двое в декабре” и “Зависть”, написанного годом позже. И особенно в его письмах. Они искренние, и в них чувствуется происходящие в его душе борения.

Были письма от друзей и поклонников его творчества. В апреле пришло письмо от молодого писателя Эдуарда Шима, приятеля Юры. Какое-то оно, говоря Юриным словом, “деланное”, искусственное. Вот из него кусок: “На будущее – пожалуйста – пусть присылает месяца за два раньше <речь идёт о маленьких рассказиках – природных зарисовках Ю. М. Александрова, о котором хлопотал Юра>. Вот такие рассказы, думаю, пройдут, и получит он нечто, и возрадуется, и приумножит живота своего. / И ты написал бы чего. А? Ведь не пропадёт. Сначала – радио, после – “Мурзилка”, под конец – книжечка в “Детгизе”. Незаметно, незаметно, ан – и куш. / Пришли! / Объясним тебя уважительно. Толстым голосом”. Есть ещё одно его письмо, по письмам можно представить себе человека. Тогда же пришло доброе, искреннее письмо Георгия Семёнова об “Осени в дубовых лесах”. В мае было длинное, содержательное письмо от Юрино друга Василия Андреева, редактора какого-то журнала. Вот какой наказ он ему даёт: “Я рад за тебя, что ты сидишь в тихом милом уголке и потихоньку пишешь, делаешь своё святое дело. А здесь, в Москве, ваш брат пишет со скрипом. Мешают приятели, попойки. Многие вообще запивают. Ой, какие дураки! Смотри у меня, ты там не увлекайся этим грязным делом. Пойдёшь по пути Светловых, Асеевых, Нагибиных, как пить дать загубишь свой талант. Молю тебя как твой искренний друг – береги свой талант, если тебе дал его Бог, отметаи от себя всё абсолютно, что ослабляет, истощает твой талант. Юра, это очень, очень важно. Запомни: вино и бабы воруют твой талант. Назови меня самым последним дураком, если я не прав”.

Известность, восхищение читателей обрушились на него, как снег на голову. Огромный, бесспорный талант. Один мой друг, инженер по образованию, вдруг бросил свою работу и стал писать. Не мог не писать, в голове роились мысли, сюжеты. Писал рассказ за рассказом, носил по журналам. Почти нигде не брали. И он как-то сказал мне: “Думаешь, я не понимаю, что мои рассказы не очень хороши? Вот если бы я писал, как Толстой, принёс бы рассказ в журнал – у меня вырвали бы его из рук. А мне приходится просить, уговаривать”. А вот у Юры газеты и журналы настойчиво и почтительно просили рассказы.

В тот год был ещё один телефонный звонок, на арбатской квартире. Говорил с Юрой заведующий отделом культуры центральной газеты Коммунистической партии “Правда” Абалкин. Он, по словам Юры, удивлённо спросил его, почему Юра не несёт в “Правду” свои рассказы. Они будут с радостью их печатать. Нет ли уже готового рассказа? Это шестидесятые годы. Оттепель. Высокие инстанции дают людям понять, что наступают новые времена. Можно писать, что думаешь, критиковать, и только одно требование – талант и соответствие эпохальным ценностям. У Юры как раз был готовый рассказ – “Лёгкая жизнь”, который ни один журнал, ни одна газета не брали. Этот рассказ и повёз Юра на другой день в “Правду”. Абалкин пригласил Юру сесть, прочитал рассказ и говорит: “Превосходный рассказ, надо только в конце дать нравственную оценку герою”. Юра протянул руку за рассказом, говорит, дома постарается что-то придумать.

– Зачем дома, напишите несколько строчек прямо сейчас, – велит, улыбаясь, редактор. – Для вас это пустяк. И мы пустим рассказ в следующий номер.

Так и появились строчки, написанные прямо в его кабинете: “Лёгкая жизнь! Мчится по Земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, всегда шумен, всегда самодоволен. Но пуста его весёлость, и жалко самодовольство, потому что не человек он ещё, а так – перекаати-поле”. И рассказ был действительно опубликован в “Правде”. То-то было смеху и радости! Интересно, что эта концовка почему-то печатается не во всех изданиях Юриных рассказов. Она есть в сборнике “Осень в дубовых лесах” (М.: Современник, 1983), а в сборнике “Юрий Казаков. Избранное”, вышедшем в серии “Российская проза на рубеже XX–XXI веков (М.: ИТРК, 2004), её нет.

Тем временем пришла пора собираться в Москву. Почти за полгода жизни в Тарусе мы обросли вещами, надо как-то добираться домой. Я позвони-

ла отцу – в семье была машина “Победа”, – чтобы он приехал за нами. Он ни в какую. В отличие от мамы, он плохо относился к Юре, именно потому, что мы жили в незарегистрированном браке. Мама наши отношения воспринимала как житейский факт, от которого никому нет вреда. Два свободных, уважаемых человека избрали удобный для себя образ жизни, оба творческие натуры, оба работают. Мать и отец были комсомольцами двадцатых годов, учились на рабфаке и поженились, не расписавшись в загсе, согласно революционным убеждениям. Родителям пришлось зарегистрировать брак, так как Архип Григорьевич Литвинов, усыновивший моего отца в гражданскую войну, послал им деньги на имя моей матери – Нине Васильевне Литвиновой. В общем, отец покорился доводам мамы и моим просьбам, и приехал за нами. Нагрузили полную машину: палатка, байдарка, одеяла, посуда, бельё и, конечно, книги, словари и рукописи. Отец был не очень любезен.

Приехали в Москву, и “...оба почувствовали, что их поездки как бы и не было <...>, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придётся, может быть, дня через два или три”.

## ТАЛЛИН

Вернулись мы в Москву в конце июня. Юра тут же уехал с каким-то заданием в Таллин. А 1 июля шлёт мне письмо-телеграмму:

“Мариночка приезжай скорее не можешь ли выехать в пятницу ведь поезд идёт в шесть вечера телеграфируй мне так Таллин общежитие ЦК партии очень тебя жду пошли телеграмму сегодня вечером я получу её завтра утром приезжай скорее целую= Юрий–”.

Отправляю 2 июля следующую телеграмму по адресу “Таллин общежитие ЦК Казакову”: “Юрочка вчера была у врача настроение бодрое сегодня шесть утра с дачи проводила наших папу маму Володю Димку и Степку приехала Москву от тебя телеграмма если сегодня успею с билетами еду сегодня если нет завтра обязательно получила большую работу интересную о севере целую=Марина–”. И 2-го же шлю ещё телеграмму: “Выезжаю пятницу вагон 4 целую=Марина–”

Юра встретил меня 3-го днём. Жили мы в общежитии ЦК компартии Эстонии, в нашу там бытность общежитие пустовало. Жизнь в Таллине была великолепна. После прекрасной, но глубоко провинциальной Тарусы начала шестидесятых, Таллин – его средневековые улочки, ещё не выдохший европейский дух, рестораны и магазины с не русского кроя одеждой – пленил наши сердца. Обедали мы в кафе, ужинали в ресторанах, ничего вкуснее угря горячего копчения я не едала. Моя мама дала мне денег, чтобы я купила что-нибудь европейское для моей комнаты в квартире Ольги Петровны. Кооператив Андрея Сергеева был готов, и меня ждала комната на шестом этаже в писательском доме № 4 по улице Черняховского, в угловом подъезде слева от поликлиники Литфонда. А мы потратили эти деньги на “сладкую жизнь” в эстонской столице. Правда, купили мне бирюзового цвета пальто, идеально сшитое из ткани букле, и светлую юбку из махровой шерсти. И то, и другое я носила лет десять.

Утром, попив чаю, садились работать. Лёгкий обед в кафе и прогулки, близкие и далёкие. Однажды мы забрели невесть куда. Спрашиваем у прохожих, как идти в центр. Русский язык не понимает никто, а ведь это 1962 год, до развала Союза ещё добрых тридцать лет. Наконец, одна девушка – к ней на этот раз обратился, заикаясь, Юра, – тоже заикаясь, объяснила, как идти. Мы с Юрой потом смеялись: один человек нашёлся, готовый показать дорогу, да и тот заика.

В Таллине жили недолго. Наверное, недели две. Поезд Таллин–Москва останавливается в Петцери, говоря по-русски, в Печорах. И мы решили на обратном пути заехать туда. Вышли из вагона утром, такси на станции нет. До города всего два километра, и мы решили пройти пешком. Теперь, когда почти у каждого русского есть машина, они лишены удовольствий “пешего хода”, которому Марина Цветаева даже сложила гимн. А ещё была когда-то песенка туриста с таким началом:

*Крутыми тропинками в горы,  
Вдоль быстрых и медленных рек,*

*Минуя большие озёра,  
Весёлый шагал человек.  
Четырнадцать лет ему было...*

Вот так и мы с Юрой шагали по псковской земле под эту песню. Весёлые, тридцатилетние.

В Печорах первым делом двинулись к Михал Михалычу, на Рабочую улицу. Жена огорчила нас: Михал Михалыч недавно умер. И мы побрели на кладбище. Тихое, поросшее кустами – вот где хорошо обрести вечный покой... Нашли могилку. На ней, как на многих, яблоко. Положили цветы, постояли, вспоминая доброго, кроткого страстотерпца. Потом проголосовали и на попутке доехали до вокзала. Ехали мы незнакомым городом. Для нас Печоры всегда были уютным городком – в садах, с красными островерхими крышами, как описал его Юра. А сейчас ехали мимо унылых промышленных предприятий, на противоположном берегу какой-то речушки не то брошенный завод, не то электростанция: грязно-бурый кирпич, большие, тусклые, в частых переплётах окна. И кругом ни души. Я заметила, что повторное посещение любимого места, если подумать, печально, в нём человек не бывает счастлив так, как счастлив был первый раз. Два раза в одну реку не войдёшь...

### **ЗИМА, ВЕСНА 1962-1963**

Снова приехали мы в Тарусу поздней осенью. Кто-то подыскал нам жильё в доме одинокой – весёлой и пьющей – вдовы лет под пятьдесят, которая работала на тарусской пристани. У неё был высокий, просторный дом на берегу, несколько комнат, сообщающихся друг с другом, большие окна, кухня, туалет. Отведённая нам комната, большая, светлая, хоть и не была проходной, но расположена так, что Клавдия Александровна то и дело, проходя по коридору, заглядывала к нам. Она любила пьяную беседу и тем частенько нам докучала. Стали думать о другом жильё. У Юры был довольно большой флакон мужского одеколona, он стоял на платяном шкафу. Как-то Юра брился и попросил принести одеколон. А флакона-то на шкафу и нет! Стали искать, думали, что поставили ещё куда-то. Одеколон как в воду канул. И Юра догадался – Клавдия его выпила. Я никогда прежде не слыхала, что одеколон пьют. “Пьют, ещё как пьют, когда выпить нечего”, – пояснил Юра. А у К. А. перед получкой как раз не было денег, мы это от неё самой знали. Надо срочно менять квартиру, тем более что и Юра стал с ней выпивать вечерами.

Юрий Михайлович Александров наконец-то подыскал для нас новое жильё. Это был совсем новый бревенчатый дом, только что построенный. В нём пахло сосной, и была всего одна большая комната с печкой, диваном, кроватью, столом и несколькими стульями. Александровы снабдили нас ложками, вилками, ножами, тарелками и чашками, кастрюлей и сковородой. Хозяйские были только гранёные стаканы числом двадцать штук. Нам было строго-настроено наказано стаканы не бить, мы один разбили, и, хотя возместили его стоимость, от квартиры нам отказали.

Большой, долгое время пустовавший дом, чёрный с рыжинкой приземистый пёсик, который любил греться на тёплой от солнечных лучей скамейке, занесённой до самой доски снегом. Он приходил к нам иногда в гости, и мы давали ему кусочки сахара. Но дружба наша была недолгой, нам пришлось из-за разбитого стакана с ним расстаться.

Следующее наше жильё было совсем кратковременное. Его нашла Елена Михайловна Голышева. Приютила нас на два-три дня в маленькой тёплой избушке одинокая, молчаливая женщина. Ночевать у неё было где, а жить втроём тесновато. Встанет она рано утром, протопит большую русскую печь, сварит борщ и идёт на работу. Борщ варился и на нашу долю. Она пустила нас только по доброте душевной – мы, конечно, создавали ей неудобство. Тем временем друзья продолжали искать нам жильё. И кто-то скоро нашёл замечательный дом, недавно построенный на современный городской (конечно, провинциальный) лад. Дом принадлежал бывшему министру кинематографии, а может, замминистра, кажется, его фамилия Большаков. Пустили нас до мая. Дом стоял на самом берегу Оки.

Начались уже лютые морозы, до 30°. Дом был просторный. Как войдёшь – большая застеклённая веранда. Сразу налево – вход в дом. Как

удивительно работает память! Садилась писать, и кроме высокой, круглой, железной печки в комнате ничего не помнила. А вернулась в то время, стали всплывать в памяти подробности, к сожалению, не все. На кухне – шведская плита, это значит, на ней можно готовить, и у неё есть изразцовое зеркало, выходящее в смежную комнату, так что и в ней тепло. Почему-то мы спали в большой комнате на полу. Но зато в этой комнате от одной стены до другой был узкий длинный стол, сделанный из длинных, ровно пригнанных не то сосновых, не то дубовых брусьев. Скорее, из дубовых, потому что он был шоколадного цвета, не очень тёмного. Юра любил за этим столом работать. Большие окна, под которыми он тянулся, выходили на Оку. На нём можно было разложить всё что угодно: справочники, словари, другие книги, бумаги. Спустя годы, в своей избе во Владимирской области в деревне Юрцово, я пыталась соорудить что-то вроде такого стола. А потом напрочь о нём забыла, я ведь и в Юрцове не живу уже двадцать лет. Сменила его на Зарайск.

Это была зима 1962–1963 года. Мы уже так сжились друг с другом и так привыкли к кочевому образу жизни, что и думать забыли о какой-нибудь перемене. А у меня чуть поостыла безоглядная влюблённость в Юру. Нам было хорошо вдвоём, успешно работалось. Мы часто ходили в гости к Елене Михайловне и к Александровым. Приехала Устинья Андреевна, в доме нашлась комната и для неё. Она нам готовила, я штопала её шерстяную кофту. Потом она уехала, и мы опять остались одни.

И вот в последних числах зимы случилось то, что должно было случиться. Терпенье моё лопнуло. Юра ночью разбушевался, как никогда. Буянил почти всю ночь. Ненадолго заснул, а утром проснулся и тут же пошёл в город за водкой. Мы жили далеко от центра, в самом низу. И я, стиснув зубы, приняла решение – уехать немедленно в Москву и поставить на этом точку. Поспешно оделась, быстро собрала свои вещи, их было немного. И вышла из дома. За ночь намело снегу, по двору на улицу шли Юрины шаги, мои отпечатывались рядом. Серпуховского автобуса в ближайшие часы не было. И я пошла к знакомым, те приняли меня тепло и деликатно. Не уговаривали вернуться. Предложили переночевать. Я осталась с утром с первым же автобусом уехала.

И вот я дома, в своей уютной комнате у Ольги Петровны. Говорю ей, что мы с Юрой расстались. “Свежо предание”, – говорит Ольга Петровна. Приняла душ, поужинали. И меня охватило чувство великого душевного освобождения. Нет тёмной Тарусы, пьяного и бесконечно грубого Юры, нет нелёгкого, почти деревенского быта. Я опять в цивилизованном мире добрых, умных, предсказуемых людей. На другой день еду к сыну, к маме с папой, сестре и брату. Как будто сбросила шкуру, из которой выросла. И на третий день позвонила в институт, что готова вернуться преподавать перевод. В ответ услышала:

– В понедельник можешь выйти?

– Могу, конечно.

Так после почти двухлетнего перерыва я вернулась в свой институт, чтобы уж больше никогда не покидать его.

Конечно, я всё время думала, как там Юра, как отнёсся к моему уходу, но ничего пока не предпринимала. Характер у меня отходчивый, и спустя несколько дней я уже всерьёз беспокоилась, позвонила в Тарусу Елене Михайловне. Юра приходил к ней, жаловался, что я его бросила, когда ему стало так хорошо писаться. Он погрузился в военную повесть, а надо вести хозяйство – в тарусских условиях это не так легко. (Вскоре к нему опять приехала мама. И он продолжил писать, не заботясь о хозяйстве.)

Услышав это, я написала Юре такое письмо:

“Здравствуй, Юрочка! Как ты живёшь? Я хотела вчера тебе позвонить, но линия с Калужской областью не работала. Вероятно, от заносов.

По-моему, нам не надо злиться друг на друга. Ты можешь говорить другиму, что я бросила тебя в самую тяжёлую минуту. Но ведь я не хотела тебя бросать. Ты меня к этому вынудил. Мы-то оба знаем, как всё произошло. Помнишь субботу – ночь? Когда ты плюнул в моё лицо? И потом воскресенье. Я видела, что тебе стыдно, и мне так было жалко тебя. И я была так ласкова тогда с тобой, чтобы тебе не было неудобно. А в понедельник ещё хуже. Ты можешь говорить маме, что вёл себя хорошо, но ведь сам-то ты всё помнишь.

Ты говоришь (это я узнала от его мамы, которая позвонила мне), что я всем рассказываю о тебе плохое, нет, я всегда только хорошее о тебе говорю.

И ты не беспокойся, подробностей никто не знает. Я понимаю, ты настраиваешь себя, чтобы чувствовать невиноватым или чтобы доказать себе, что я не стою твоей любви. Но это самообман. И долго он продолжаться не может. Согласись, милый, что дело обстоит так: ты не мог со мной по ряду причин мнимых и действительных – тебе <”тебе” подчеркнуто> они все представлялись действительными, такой у тебя характер, но и вместе тебе было хорошо со мной. И это противоречие должно было разрешиться. Ты, руководствуясь подсознательным (потому что когда бывал пьян), делал всё, чтобы я ушла. Помнишь, как ты мне сказал, я испытываю, до какой степени можно ещё тебя унижить, и ты будешь унижаться и говорить, что любишь меня. Ну, что-то такое в этом роде, точно не помню.

Я люблю тебя по-прежнему. А может быть, даже теперь уже и больше. Но унижаться больше не буду. Я не прошу, чтобы ты меня любил. Чего чел <”Чего чел” подчеркнуто одной линией>. Вот этого сделать над собой нельзя. Ты всегда меня не любил, но старался. И, конечно, кроме раздражения, у тебя ничего не получалось. Так что ты абсолютно ни в чём не виноват. Но, Юрочка, друзьями-то мы должны быть, хотя бы только потому, что более преданного человека (из не кровно родных) у тебя нет.

Дела мои такие. Сейчас идём с ОПХ в милицию насчёт прописки. С понедельника иду на работу в институт. По вечерам, три дня в неделю. В этом году – почасовая. Перевожу Томаса Гарди и пишу рассказы <”Двое”>. В Лужники ходила со своей Иркочкой. Смотрели “Пожнёшь бурю”. Со здоровьем плоховато, но ещё ничего. Нарывы из горла перешли на десны. Ольга Ивановна – знакомая Ю. М. – лечит, колет алоэ и пенициллин. В голове опять небольшое давление, на той неделе обещали хорошего врача. И ещё я здорово похудела. Ну, вот и всё пока. Пиши. Марина”. И справа на полях: “Маме большой, большой привет”.

Это письмо показывает, до какой степени я не понимала тогда, что действительно происходит в душе у Юры. Потом поняла, прочитав рассказ “Зависть”. Не только я любила его, но и он очень любил. Боялся, что я уйду от него, – знал, что с ним трудно. Конечно, мать его постоянно твердила, что я не пара ему, “разведёнка”, да ещё у меня ребёнок. Что против этого скажешь? Ведь и сам он хотел повести в загс чистую девушку, которая родит ему первого своего ребёнка. Всё так, но любовь-то была. И любили всё одинаково – природу, русский язык, русскую классику, музыку. И дело почти общее – день-деньской корпеть над текстами изящной словесности. И душевные – умные и согласные – разговоры. И плотью близки. Неразрешимое противоречие.

Получив моё письмо, Юра пишет ответное (буквы пляшут, писано во хмелю):

“Привет, милая, приветик!

Зачем это тебе доказывать, что я плохой? Ну, плохой и плохой, ну, не любил тебя и не любил – что ж такого и зачем вновь поднимать этот вопрос? Тут уж нечего после драки кулаками махать, раз конечно, так конечно. А то мы с тобой можем до бесконечности упрекать друг друга – ведь у меня тоже к тебе есть претензии, и немалые. А мы просто давай не вспоминать плохого, тем более, что всякие воспоминания кровь портят. Я не хотел тебе отвечать, а думал, что приеду в Москву, позвоню и всё скажу, но обстоятельства переменились, я буду сидеть тут, и вот поэтому пишу.

Значит, ты устроилась на работу? Уж сразу чтобы отрезать себе все пути назад – так, да? Ну, что ж, поработай. Повесть моя после твоего ухода прекратилась, но теперь опять пошла, хотя и плохо, и я ничего в ней не понимаю. Наверное, дерьмо выйдет, но я всё-таки кончу, а если будет плохо, то куда не отдам – и всё. Слава Богу, у меня есть одно качество, которое мне нашёптывает, что плохо у меня и что хорошо, и поэтому я не публикую плохих вещей. Бывают лучше и хуже, а если плохо выйдет, то я не печатаю.

Ожидается в Тарусе небывалый разлив, нашей с тобой Клавдии Александровне вручили повестку о выселении, и многим тоже, говорят, что вода зальёт город (площадь, где стоит Ленин).

Приезжала ко мне одна девочка (пианистка), я её повёл в дом М. М. – и наш рояль вдруг заиграл – так хорошо было, я послушал. Наст. Фил. ничего не знает, и очень удивилась что я пришёл с другой, а тебя не было.

Дёсны твои не коли, не лечи, а лопай чеснок – всё пройдёт.

Е. М. меня замучила тобой, но я мужественно сопротивляюсь. Я ведь стоик.

А Нашатырь-то помер. Мама его почему-то именует Штопором. А ведь приглашал нас с тобой жить у себя. И помер.

Ну, будь здорова, не болей.

Юрий

IV 63". (Орфография и пунктуация Ю. Казакова)

Сохранилось моё ответное письмо:

“Здравствуй, Юрочка!

Получила твоё письмо. Пришло оно вечером, около 8 часов. А сейчас 12. Ты пишешь, наш рояль, наша Кл. Алекс. Конечно, всё наше. Очень многое наше. Таруса, Дунай, Печоры, Таллин, Судак, Кольский полуостров, Кемь, Кандалакша. И при чём здесь какие-то девочки-пианистки, и вообще, какое отношение к нам, к нашей любви, имеет всё, что вокруг? Я, конечно, первое письмо написала глупое. Да я ведь глупею, когда пишу тебе, или говорю (не всегда).

Я очень-очень тоскую по тебе. Мне почему-то казалось, что и ты, когда ложишься спать на нашу тахту под двуцветный торшер и смотришь на отсвет от лампы приёмника на стене, и слушаешь музыку, то ты куришь, сминая папиросы в пепельницу на полу и думаешь, вспоминаешь обо мне. А ты пригласил пианистку. (Это та, что писала тебе? Видишь, я была права, просто деловых переписок не бывает.)

Но только я верю, что это не то. Потому что то – это наше. Если выбросить те часы, когда ты был пьян, у нас были необыкновенные отношения. Это было настоящее. Это была жизнь, невозможная друг без друга. Я не знаю, как ты, но я оценила это, отойдя на расстояние. Мы так должны ценить то, что нам выпало. Помнишь Тарусу? То наше любимое место на высоком берегу. Деревня на другом. И как я ходила за водой и там была длинная хворостина, сломанная вдвое, чтобы держать котелок. А какой был ветер, это уже на другой год.

Милый, если можно, приезжай скорей. Я так хочу, чтобы ты был рядом. Или я приеду.

Я вчера провожала днём в Таллин Ольгу Петровну. Она поедет мимо Петцери. Ох, как мне хочется всё снова с тобой увидеть, пройти от станции до города. Почему мы шли тогда ночью? Там ещё слева на холме деревья высокие, призрачные от луны. А как мы уезжали в Ленинград? А могила Михаила Михайловича – это ведь наша святыня. Крепко тебя целую. Господи, почему мы должны укладываться спать порознь?

Ты пишешь, что то, что ты написал, наверное, дерьмо. Ты не пишешь плохо повесть или рассказ, когда не спешишь и не ради обязательства – вернулся, например, из командировки. У тебя истинный талант словесный. И ты умный человек. И последние годы, как и предыдущие, ты много читал, думал, видел и пережил. Это всё сплавилось в тебе и сейчас, оживлённое твоим талантом, ложится на бумагу. То, что тобой написано, необходимо должно быть хорошо.

Юрочка! Я очень хочу побыть с тобой в лесу в конце апреля, когда земля просохла, уже лезут зелёные, свитые в трубочку травы. Но ещё нет зелени на деревьях и лес сквозит весенним солнцем. И чтобы пахло дымом. Не сердись на меня, родной мой, я очень тебя люблю и не могу без тебя.

Целую, Марина”.

Письмо это Юра получил 16 апреля. Из Москвы оно ушло по авиапочте 14.

Подтекст моего первого “глупого” письма, на самом деле повинного и растерянного, – “Я зря уехала, прости, если можешь”. Подтекст Юриного письма: “Конечно зря, очень плохой поступок. Но всё же прощаю”. Этот послыл мной понят, и написано второе письмо, в котором уже нет сомнения, что Юра сердцем откликнется на моё послание, и мы скоро опять будем вместе. Так что Ольга Петровна была права, сказав: “Свежо предание...” – о нашем разрыве.

Не помню, было ли ответное письмо, в архиве моём его нет. Наверное, всё же письма не было. Юра продолжал какое-то время писать в Тарусе. В мае зачем-то приехал в Москву. Пошёл в поликлинику Литфонда, которая находилась рядом с моим шестым подъездом. Вышел из неё, а я откуда-то

спешила домой. И мы столкнулись на подходе к метро нос к носу. А мир между нами, несмотря на письмо, не был ещё восстановлен. Секунду мы стояли, оторопев. Вдруг обнялись и как приклеились. И уже не могли расстаться. Поднялись ко мне на шестой этаж. И оба не стеснялись показать, как мы счастливы. . .

### ЗИМА 1963-1964

Ольга Петровна на зиму опять перебралась в Голицыно, и Юра теперь почти всегда жил у меня. Мы никуда не поехали, у Юры было в Москве много дел, за границей печатались его книги, постоянно приходили письма из Франции, Англии, Италии. Сохранилась у меня страничка – черновик письма художнику по имени Малат с приглашением в Москву. Писалось оно 5 декабря 1963-го Е. Евтушенко и Ю. Казаковым. Чем это кончилось, я не знаю. Приходили письма от простых людей, взволнованных Юриными рассказами.

Вечера Юра проводил в Доме литераторов, возвращался домой пьяный. У него уже были деньги от иностранных издательств, на которые можно купить вещи и продукты в магазинах “Берёзка”, где продавались на валюту иностранные товары. Однажды Юра принёс большой картонный ящик, я обрадовалась, думала, в нём еда – мясо, рыба, сыр. Человек ведь каждый день должен питаться. А в нём – несколько бутылок рому и лимонного сока, с которым, оказывается, иностранцы пьют ром. Иногда ходили в гости: к Жене Евтушенко в соседний дом, к Юрию Трифонову. Тогда ещё жива была жена Трифонова, молодая красивая женщина, до замужества – певица Большого театра. Она показала мне свою дочь, прелестную девочку – та уже спала в маленькой тёмной спальне. Квартира была просторная, с большой кухней, но в ней, помнится, была какая-то странность, и Трифоновы опять находились в процессе обмена квартиры. В гостях у писателя Рыбакова я перелистала замечательную книгу на английском языке: “Десять великих религий мира”. И в ней прочитала, что все эти религии объединяет одно правило: “Никогда не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе” (Ветхий Завет).

За три с половиной года любви, путешествий, прочитанных книг, знакомств с самыми разными людьми моё романтическое мировосприятие слегка потускнело. Писательский мир утратил очарование Олимпа. Правда, в шестидесятые годы были живы Паустовский, Твардовский, Некрасов, и в нашем доме на улице Черняховского жили очень достойные люди: Волков, Арсений Тарковский, переводчики М. Ф. Лорие и Е. Д. Калашникова, и многие другие. Но Юрино окружение было иного свойства: тщеславные, любили выпить, большим умом и образованием не отличались, да и нравственностью тоже. Обычная человеческая суета сует. Кого из этих писателей сейчас помнят? Кто из них остался в литературе? Были, конечно, и среди них исключения – Георгий Семёнов, Виктор Лихоносов, Виктор Конецкий.

В ЦДЛ я и сама не хотела ходить, и Юра меня не брал. Это сейчас у меня болит сердце, что не выдюжила я тогда. Что, находясь в те годы рядом с Юрой, не сумела отвадить его от пьянства. Мне просто тяжело с ним тогда жилось, и я мучилась собственным мучением, не сознавая, что на моих глазах, рядом со мной гибнет очень талантливый и очень несчастный человек.

И всё же тогда, читая его очерки и рассказы, его письма ко мне, я умом и сердцем чуяла и его талант, и любовь ко мне, и сама не переставала его любить. Все те месяцы я не сомневалась, надеялась, что всё как-то само собой наладится. Юра перестанет пить. И мы всегда будем вместе.

Не помню, когда Юра уехал на Север и куда точно. Но у меня есть его письмо от 24 марта 1964 года, написанное от руки:

“Ах, старушка! Ах, да и не люблю же я твоих писем! Ну, вот, погляди, до чего я естественен в своих! Ты естественна, когда языком мне в нос лезешь, когда хихикаешь, когда опять же языком своим болтаешь с кем попалю. Даже когда переводишь. Немножко фальшь есть у тебя, когда говоришь в обществе. И 100% “нет тебя”, когда пишешь умные письма. Отучал я тебя, да уж могила исправит.

А я в Мурманске. И уже проехал мимо пельменной, где мы ели, уже был (прошёл) мимо кафе, где ты травилась, был в гастрономе где мы покупали мясо. Живу в “Арктике”, куда нас не пустили. Окна мои – на залив! Все эти дни днём – солнце, ночью – звёзды и полярное сияние. Точно такое, как на

этикетках. А не такое, как я описывал. (Неграмотно написал, скажешь? Это-то и есть моя естественность). Прости, очень фиговая ручка, шариковая, рука заплетается и устаёт. Теперь я понимаю, почему мне её подарили!

Эти дни перерыва я хочу использовать для поездки на рыбозавод, сегодня пойду в редакцию, узнаю, где тут поблизости есть рыбозаводы. И вообще я как-то растерялся малость и надоело уже шляться, хочу в Москву, там машина, ты и всё такое. А дело в том, что тут самая интересная зверобойка начинается в апреле (со стрельбой по взрослому зверю), а то всё били маленьких баграми. Но всё неясно, т. к. они уходят в море до 10 мая. Я бы с ними пошёл, но мне надо раньше выбраться. А как? А болтаться до 10 мая невыносимо. Вдруг всё-таки я поеду в Чехословакию? Во всяком случае, командировка у меня до 7 апреля, посижу ещё здесь. Я пока добрался до гостиницы голенький, все мои шмотки на “Моряне”, там и машинка. Сегодня шхуну перегонят в торговый порт, и я попробую засесть за работу прямо здесь.

Будь здорова, не грехи (как у Шекспира) – ведь ты жена моряка. Вот летом я поплыву в Карское море на охоту за белухой. Там будут гуси, олени, белые медведи, Диксон и прочие полярности. А до того мы с тобой скатаем куда-нибудь на машине. И после того скатаем.

Пиши мне быстро. Авиапочтой.

24 III 64

Мурманск

Письма твои всё-таки приятно получать”. (Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Моего ответного письма нет. Но сохранился билет на самолёт. Я вылетела в Мурманск, получив телеграмму – прилетай немедленно. Юра встречал меня в аэропорту. Я увидела его ещё из окна самолёта, когда самолёт заходил на посадку. На нём было просторное, серое в елочку, пальто-реглан, на голове – большая заячья шапка-треух. Остановилась я в той же гостинице, на площади Пяти углов. Юра только что вернулся из плавания. Плавал он на шхуне “Моряна”, подробности я узнала, внимательно перечитав очерк “Отход”, описывающий летнее плавание 1965 года в северных водах и отнесённый в “Северном дневнике” к 1967 году. Юра пишет: “Две недели провёл я на этой шхуне зимой <март 1964, на севере ещё зима>, и трюм тогда был забит просоленными тюленьими шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой – тюленьи красные туши для зверофермы. Планшир обледенел, на снастях – сосульки, посвист ветра, позёмка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводья возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок...”. В очерке Юра, Женя Евтушенко и кто-то третий прощаются в ресторане с Архангельском, они уходят на той же шхуне “Моряна” бить крупного морского зверя:

“Белая ночь за окном, и наша шхуна, наша “Моряна”, которая вот уже пятнадцатый раз пойдёт надолго во льды. <...> Но я спокоен – она не уйдёт без нас, потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив – Илья Николаевич, стармех, потом Алёша, старший помощник, чиф, все начальство с нами и Володя-моторист, рыжий, розовый лицом <...>” Мне тогда хорошо запомнился молодой, румяный Володя-моторист. И старший помощник Алёша, тоже молодой, невысокий, с приятным русским лицом, во всех чертах – твёрдость.

Евтушенко говорит стармеху: “Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году. Вот Юра спас... На Север увёз, давайте, давайте... Саша! Илья Николаевич! Давайте... Алёша! За Север!”

А капитан шхуны вспоминает:

“ – Вот Копытов мне по радио говорит с ледокола, тебе, говорит, на шхуну писателя с вертолётки ссадят! Нет, говорю, товарищ Копытов, пускай его высаживают на “Нерпу”, там ребята передовые. А ты, говорит Копытов, тоже передовой, принимай гостя. Да у меня, говорю, вал погнут и всё такое, а сам думаю: “Без писателя-то, – думаю, – оно веселее, на черта он нам сдался!”

– А помнишь, потом как нас буксировали?

– А в Мурманске-то помнишь, как прощались?”

Через несколько дней по возвращении тогда в Мурманск моряки устроили в ресторане гостиницы прощальный ужин. Я уже приехала и была его



участницей. Потом все поднялись в Юрин номер, продолжили прощание. Сдвинули столы, и в разгаре пирушки старпом, молодой крепкий парень, швырнул через стол бутылку с вином в своего друга, моториста, тот, к счастью, успел отклониться. Старпом был очень пьян, его увели – поступок его был необъясним для всех.

Весной Юра уехал в Ялту, в дом творчества. Потом поездка в Чехословакию. Потом мы вместе отправились в Судак, в Гагры. Потом Алма-Ата. Возвращение в Москву, Таруса, где Юрина мама сломала ногу. Звенигород. И там, в июне, закончилась наша пятилетняя жизнь. А летом он всё же поплыл “в Карское море на охоту за белухой”.

Помню, когда мы вернулись в Москву из Мурманска, Юрина мама дала ему письмо, посланное из журнала “Вопросы литературы” от 17 марта 1964 г. Вот что в нём было:

“Дорогой Юрий Павлович!

В нынешнем году исполняется 150 лет со дня рождения Лермонтова. Редакция журнала “Вопросы литературы” обращается к ряду виднейших деятелей советского искусства с просьбой принять участие в нашей анкете:

1. Какое место, по Вашему мнению, принадлежит Лермонтову в судьбах нашей национальной культуры?

2. Как Вы расцениваете значение литературного наследия Лермонтова для нашей современности?

3. Какую роль сыграл Лермонтов в Вашей собственной творческой биографии?

Примерный объём материала – 4–6 машинописных стр.

Мы очень просим Вас, дорогой Юрий Павлович, принять участие в этом разговоре на страницах нашего журнала.

Редакция будет Вам весьма признательна, если вы пришлёте нам материал до 5 апреля.

ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ [Подпись]

С. Машинский”.

В своём архиве я нашла надиктованные мне Юрой его мысли о Пушкине и Лермонтове. К сожалению, только три странички. Под действием этого письма Юра задумался о смерти Лермонтова, Пушкина, Толстого. Записывая, я сокращала слова, опускала иногда знаки препинания. Привожу запись в расшифрованном виде:

“Что я хочу тебе сказать – я говорил тебе это неоднократно: величайшая трагедия для России XIX века – смерть Пушкина. Одни – мало спустя, другие – много времени спустя поняли, что дуэль Пушкина могли предотвратить. Я говорю тебе это ещё раз для разгона. У меня ассоциаций и говна всякого! Когда умирал Лев Николаевич Толстой, история его побега была загадочна, непонятна, взбудоражила весь мир. Умирал писатель и мыслитель. К тому времени наша литература успела возвыситься, смерть нашего интернационального, национального писателя имела национальное значение. Но смерть Толстого не была удивительной, неожиданной смертью. Есть смерти другие, смерть Кеннеди, например. Он был ещё здоров, он был молодой, он ещё бог знает что мог бы сделать. Такой же была смерть Пушкина в России. Поэтому мне кажется, что русская нация, самая разумная её часть, испытывает вековую вину перед Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэтому его смерть и все подробности его смерти до сих пор занимают наше воображение. И поэтому смерть Пушкина ужасна не только тем, что она насильственна, но и преждевременна, мы понимаем, что бы мог сделать Пушкин, останься он жив ещё на несколько лет, если взять его последние произведения за образец. “Моцарт и Сальери”. И последние стихи – “На свете счастья нет...” и “Памятник”.

Мне кажется странной непонятная вещь – Николаю I, государю-императору всероссийскому, досталось очень много: начало царствования было омрачено разными неожиданными штуками, декабристами, за время его царствования умерли Гоголь, Белинский, Пушкин. Неприятностей хоть отбавляй. И если Николай по отношению к Пушкину проявлял лояльность и даже любовь – искренне или нет? Николай прислал своего лейб-медика, обещал устроить его семью (Жуковский очень любил Пушкина, может, он подстроил его письмо к Николаю, некоторые наши историки считают, что Жуковский наврал последние слова. Жуковский хотел бы, чтобы Пушкин сказал такие слова,

не потому что был подонок, а хотел издать его стихи). Смерть Лермонтова не произвела такого впечатления на общество, как смерть Пушкина. Между тем как Лермонтов был, несомненно, крупнейшим и величайшим поэтом после Пушкина. Мало того, что она не произвела впечатления, я не помню точно, где – в письме или на резолюции – Николай якобы написал “собаке собачья смерть”. Чем вызваны слова Николая? А Николай вообще был (и гордился тем), что является знатоком и меценатом поэтов российских. Николай Пушкина уважал, пусть внешне.

Характер Лермонтова – ужасен и отвратителен...”.

На этом Юра кончил диктовать – четвёртая страница (оборот третьей) пустая. Это как бы разгон для написания ответа “Вопросам литературы”, который был опубликован в № 10 этого журнала. В опубликованном материале есть отголоски продиктованного. В целом, это не повтор, а развитие сказанных мыслей и рождение новых, которые созревают на уже подготовленной почве. Имеются и общие мысли: “У всех русских есть какое-то горькое, вековое сожаление, даже вроде бы чувство вины... Пушкина убили, а он был молод, около тридцати восьми лет – это ли возраст для писателя! Тридцать восемь лет ему было, вот что страшно, вот что нас мучит и сейчас”. Повторяются слова Николая I “Собаке собачья смерть”. По-иному, более точно, сказано об отношении Николая к Пушкину: “Не любил царь и Пушкина, но тому оно многое спустил”. Мысль о преждевременной смерти перенесена на Лермонтова и развивается: “Это о нём с восхищённым испугом говорил долго спустя Лев Толстой: “Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский”. Всё это хорошо известно, и я лишний раз напоминаю об этом, потому что действительно страшно подумать, что ещё написал бы этот изжелта-смуглый поэт с сумрачными глазами”. Рассуждение о смерти Толстого выпущено, зато даны подробности смерти Пушкина.

Надиктованное Юрой заканчивается словами “Характер Лермонтова – ужасен и отвратителен...” Их нет в опубликованном материале, это была только наметка, что сказать дальше. Рассказ о смерти Лермонтова начинается так: “Но какой бес сидел в нём, какой рок, какая судьба гнала его всё ближе, ближе к обрыву на Машуке?” Диктуя, Юра фокусировал свои мысли, проговаривал то, что потом могло бы войти в написанный вариант. В итоге получилось яркое, точное по мысли и ясное по изложению, безукоризненное повествование.

Из Ялты у меня, кажется, нет ни одного письма. А из Праги есть открытка, сухая, написанная 22 мая 1964 года:

“Привет из Праги! Тут Беатриса Элькина знает твоего Димку <брата>, и от неё тебе привет Очень здорово, что я в Праге. Ю. Казаков. И меня тут любят Пью Fernet”. (Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Что происходило дальше, не помню. Конечно, я работала в институте, что-то переводила. В июне, наверное, Юра вернулся. И мы собрались на юг, в Судак. В Судаке мы задержались недолго. Поехали на Кавказ. Из этой поездки сохранились в памяти всего несколько эпизодов.

Едем куда-то в плацкартном вагоне. Тут же едет молодая женщина с годовалым ребёнком. Когда она уходит по своим делам, оставляет малыша со мной. Я сижу с ним, гуляю по вагону, он играет с моими бусами – у меня на шее нитка жёлтого янтаря. Играл он, играл, и нитка вдруг порвалась. Янтарь рассыпался по всему проходу. Собрали, конечно, но Юра осердился. Не из-за янтаря, а из-за того, что я так нежно нянчила чужого ребёнка. У него было к малышу даже какое-то брезгливое чувство.

И опять мы в вагоне. Опять куда-то едем, на этот раз точно на Кавказе. Почему-то вагон наш должен стоять часа два. Кажется, в Гаграх. Юра откуда-то узнал, что здесь сейчас находится Василий Аксёнов, связался с ним (наверное, Аксёнов жил в Доме творчества) и позвал его посетить нас в вагоне. Аксёнов пришёл. Встретились они с Юрой тепло. Говорили о своих делах. А потом Аксёнов рассказал нам, что неподалёку есть птицеводхоз, где можно отведать вкуснейшее кушанье “хачи-мачи”. Это куриные потроха, тушённые с луком и помидорами. Ехать туда на автобусе. Мы махнули рукой на наш поезд, сели в автобус, идущий в птицеводхоз. Там, действительно, была большая столовая, куда ездили вкусно пообедать местные и приезжие гурманы. Нам не повезло. Не было ещё накоплено достаточно потрохов, чтобы приготовить “хачи-мачи”. Интересно знать, всё ещё там готовят

это замечательное, по мнению Аксёнова, кушанье? Или хачи-мачи вместе с совхозом и столовой погибли под обломками СССР?

Но зато мы попали в реликтовый сосновый бор тоже где-то под Гаграми. Высокие, мачтовые сосны, сумрачно, нет южной яркости, солнца. Нет и заведений общественного питания. Есть только маленький магазинчик. Женщина, у которой мы остановились на сутки-другие, посоветовала купить бычьи хвосты и сварить суп, бычий хвост, говорит, очень вкусен. В магазинчике только они и были, да ещё хлеб и рыбные консервы. Хозяйка дала мне лук, соль, морковку, картошку, и я сварила суп. Он оказался ничего, а вот хвосты подкачали. Есть в них было нечего.

Вот и всё, что я помню о нашем летнем путешествии по югам.

## ОСЕНЬ–ЗИМА 1964-1965

Вернулись в Москву к первому сентября. У меня опять институт и очередной перевод. А Юра в конце сентября или в начале октября улетел в Одессу вместе с Виктором Конечким и режиссёром Данелией. Оттуда он пишет мне в ответ на моё письмо:

“Слушай миленькая,

если тебя одолевают воспоминания, то меня вовсе нет: когда мы были в Одессе в конце октября, тут было тепло так, что даже купались раз, а тот мальчишка, который был нашим хозяином в некотором смысле <наверное, сын или сосед Воскобойникова, друга моего отца> купался всё время, хотя и синел после таких купаний.

А теперь тут холодно, дует пронизывающий ветер.

Я успел пожить в гостинице Одесса, бывшей Ленинградской.

Я успел поспать в люксе. Потом меня выселили в более скромный номер. Потом нас всех, т. е. Конечкого, Данелия и меня, вообще выселили из гостиницы. И нам стоило с Конечким многих хлопот и унижений достать себе двойной номер в гостинице Пассаж, гнуснее которой труднее себе что-либо представить.

Когда мы с Конечким молили в горисполкоме о гостинице — Данелия летел в Херсон к своей жене Любе, а Аксёнова вообще не было. Аксёнов наслаждался жизнью в Москве. Теперь у нас с Конечким гнусный номер на двоих, а Аксёнов прилетел из Москвы, и Данелия вернулся из Херсона. И мест нигде нет. И теперь мы наслаждаемся, а они бегают по городу, как очумелые, и ищут пристанища. Выдающиеся писатели и режиссёры... А это им не хрен собачий, а Одесса. И мест для них нету. Гнусно и противно.

А наша гостиница называется Пассаж. И окна выходят в универмаг. Т. е. во внутреннюю его сторону. И целый день за окном гул от множества покупателей. Вообрази ГУМ.

Вообще-то я зря поехал сюда, зря связался с этой компанией, и даже не в том смысле, что компания плоха, а в том, что не надо писать компанией. Ну, да чёрт с ним.

Я эти дни совсем не пил, но после всяких пертурбаций начал опять, т. е. сегодня, но это временно, потому что с завтрашнего дня я опять не буду.

Сегодня, я слышал, в Москве шёл снег. Я хотел тебе звонить сегодня, но меня заперли в номере. Дело в том, что я заснул часов в семь вечера. Дежурная, зайдя ко мне, увидав меня спящим, решила меня запереть. Я проснулся в десять. Толкнулся: заперто! В 11 меня открыли. И звонить идти было уже поздно. Позвоню тебе завтра. А пока два поручения.

1. Пойди в “Правду” к Абалкину (или к его секретарше) — это отдел литературы и искусства — и возьми у него назад “Нестора и Кира”, и отдай его перепечатать в 4-х экземплярах.

2. Поезжай немедля в ГУМ и там купи две зажигалки австрийских, таких, как была у меня. Именно две. Они стоят, кажется, 3-60 или 3-80. Купи, не откладывая, в день получения этого письма.

Вот и всё.

Я по тебе скучаю. Ты верь мне, я исправлюсь. Т. е. настанет такой момент, что я не буду никому ничего обязан, не стану писать никаких сценариев и тому подобного, не буду переводить, а буду писать рассказы и очень стараться при этом. И сдам на права. И мы поедем в Печоры даже зимой; кстати, Печоры, пишется через “о” — а запятая после слова Печоры — моя ошибка.

Пуще зеницы ока храни “Нестора и Кира” – это последний экземпляр. Я приеду 16-го. А 17-го уеду. Ты будь эти дни у ОПХ. Между прочим, я всё время, т. е. во время писания письма слушал Баха. Дanelия взял с собой “Спидолу”. Всё-таки это изумительный приёмник!

На Черноморской улице я не был, но обязательно побываю!

Целую тебя и люблю. Скоро напишу ещё. <Дальше от руки:>

4 X 64 Ю. Казаков”.

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Вот надо было мне ухватиться за это: “Ты верь мне, я исправлюсь”. Первое условие, чтобы “исправиться” и писать рассказы, а не сценарии и переводы, – перестать пить. Он и сам всё время касается этой своей губительной склонности. Но события уже завертели в другую сторону, что не только не способствовало его исправлению, а, напротив, всё очень сильно ухудшило.

17 октября Юра собирался лететь в Алма-Ату, где ему предстояло переводить с подстрочника роман казахского писателя Абдижамила Нурпеисова “Сумерки”. Прошлой зимой Нурпеисов не один раз звонил Юре, умолял перевести роман. Он понимал, что, написанный по-русски Юриной рукой, роман будет прекрасно читаться, станет событием в советской литературе. И даже будет переводить его на иностранные языки. Юра долго упирался, но, в конце концов, всё же уступил. Жить-то надо было на что-то. “Нестора и Кира” все очень хвалили, а печатать боялись.

Юра вернулся 16 октября, но на другой день в Алма-Ату не улетел, пожил сколько-то в Москве. У меня есть конверт с письмом из Алма-Аты, отправленным 3 ноября. И ещё есть письмо от 4 ноября, полученное немного позже. Письма, посланные по авиапочте из Алма-Аты, приходили в Москву на другой день. Значит, первое письмо было написано, наверное, 1 или 2 ноября. Так что, видимо, в Москве Юра побыл неделю. К 4 ноября он уже успел поехать по югу Казахстана. Поездка заняла дня три-четыре. Похоже, что письмо это написано в первые дни. Вот оно:

“Дорогая Мариночка, спасибо тебе за письмо и телеграммы. Устроился я хорошо, но с приездом тебе придётся пока погодить. Есть две причины. Первая, что, м. б., я получу телеграмму об Америке и мне придётся срочно срывать, и ты не успеешь как следует отдохнуть, напрасно только войдёшь в расходы. Вторая причина, что я живу в Доме отдыха ЦК КПК, и тут надо сперва нажать на моего казаха, чтобы он организовал твоё пребывание здесь, понимаешь? Я хочу, чтобы ты спокойно пожила вместе со мной, а не где-то.

Я думаю, что всё это (с Америкой) выяснится в течение недели или десяти дней, и тогда ты уже соберёшься ко мне на вторую половину ноября, и не на десять дней, побольше. Тут уж ляжет снег, будем кататься на лыжах и домой поедем вместе в конце ноября или в начале декабря. А пока спокойно работай и обо мне не беспокойся.

Забрался я высоко, близко от нас снежные горы, тут сейчас прохладно, несколько дней назад выпал снег и растаял только местами. Воздух чистый, шумят горные речушки, тебе здесь понравится, кормят сносно, только я за все эти дни соскучился по русской еде, по картошке отварной, по капусте и тому подобному. А тут всё баранина.

“Нестора и Кира” ты мне пришли авиапочтой, покажу я его в здешнем “Просторе”, авось примут. Писать или телеграфировать теперь ты мне можешь по такому адресу: “Алма-Ата, п/о 20, Дом отдыха ЦК КП Казахстана”. Можешь также и звонить. У нас тут два телефона, один – внизу: 2-81-66, другой – на втором этаже: 2-77-81. Мне бы удобнее говорить со своего этажа, но внизу больше вероятности, что кто-нибудь подойдёт, там и дежурные болтаются. Ты на всякий случай давай два этих телефона, какой скорее откликнется. Только учти разницу во времени. Когда у вас в Москве 12 часов ночи, тут ещё 9 вечера, мы от вас отстаём на три часа. Звони с таким расчётом, чтобы у нас было семь часов вечера, т. е. в 10 по моск. времени, у нас тут как раз ужин.

Съездил я хорошо, ездил по Южному Казахстану, приходилось мне выступать каждый раз, что меня, конечно, угнетало, а так всё остальное было в порядке, нагледелся на степи, на верблюдов и на ишаков. Я тебе потом расскажу. Пил я мало, хотя возможность имел неограниченную, но был всё время на глазах у народа и неловко было, да и выступать приходилось часто.

Подарили мне халат с тюбетейкой.

Денег у меня нет, т. е. относительно нет, никаких авансов мне тут не дают, а за путёвку заплатил мой автор. Ну, да мне пока и не надо, а потом авось дадут рублей двести, на обратную дорогу хватит, и ладно. Страниц сто переведу и тогда выпишут аванс. А как ты? Хотя бы у тебя было хорошо с деньгами.

Ну – целую крепко во все места и скучаю очень. Будь здорова, привет всем твоим.

4 ноября <и от руки> твой Юра”

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Мо’ предыдущее письмо не сохранилось. По-видимому, я в нём сообщала о “Несторе и Кире”. Что за телеграммы – не помню. Юра хотел как можно скорее покончить с переводом и вернуться в Москву. А завяз он в Алма-Ате на четыре месяца.

До отъезда в Казахстан Юра не успел ничего сделать с “Нестором и Киром”. Полученное письмо меня обрадовало – не только потому что Юра написал, что пил мало, но и по тону письма. Он явно писал его трезвым. Такие письма пишут любимой жене и помощнице. За плечами у нас было больше четырёх лет жизни. Кажется, всё шло к тому, чтобы быть нам вместе до конца дней.

Но я-то уже начала уставать от Юриного пьянства. Особенно тяжела была прошлая московская зима. У меня сохранилось пять Юриных алма-атинских писем и две телеграммы. Первое, от 4 ноября, я привела выше. В первой телеграмме то же распоряжение – не приезжать: “Пока не вылетай не устроим позвоню через несколько дней целую Юрий”. Работала я в институте в том семестре на полной ставке, значит, занята четыре дня в неделю. Но недели на две меня бы, наверное, отпустили, с условием, что я сама обеспечу замену. Следующее письмо написано от руки 11 ноября:

“Дорогая старушка! Сегодня я проснулся и увидел в окне первый пасмурный день в горах. Потом я ещё больше выглянул и увидел, что день не только пасмурный, а что ещё и снежок идёт – сыплется такая мелкая крупка и тает на асфальтовых дорожках, а на траве не тает, и трава уже белая.

Это было утром. Потом весь день сыпал снег, то крупный, то мелкий, и всё засыпало так густо, как на Новый год. Теперь снегу по колени, яблони стоят толстые и тополи тоже...

И между белых берегов шумит тёмная речка, и над ней идёт пар. Он, как и вода, стекает вниз в долину, только медленнее, чем вода.

Примерно в пяти километрах от нашего дома начинаются горы, и там растут ели по 40 метров высотой.

А за этими горами – ещё горы, уже совсем высокие, и там ничего не растёт.

Я работаю, но медленно, очень мне вредит, что я не умею халтурить, а стараюсь сделать получше, а получше-то оно и медленно. Ну, будь здорова, целую. Скоро ещё напишу.

Юра

11 ноября, вечером.

А ты не балуешься там? А то смотри, тут есть казашки, а меня давно тянет на восток.

<На обороте страницы> Слушай, знаешь, что я решил? Мы с тобой объедем в августе будущего года всё побережье Чёрного моря – от Овидиополя до Феодосии и Таганрога – и будем есть креветок и бычков, охотиться под водой и собирать монеты генуэзцев и прочих римлян, и пить кислое вино, и любить друг друга ночью и утром, и днём, и вечером, и слушать турецкие джазы по “Спидоле” – и тогда будет пять лет нашей жизни. А потом мы можем бросить друг друга, приехав в пресную и скучную Москву.

А ездить мы будем на моём чудесном автомобилишке, потому что здесь, в Алма-Ате, мне обещают сделать права.

Вот и всё.

Сегодня был солнечный день, и весь снег сиял, и было больно глазам, потому что это в горах и воздух чистый. И пахло снегом очень свежо и колко. Это я тебе пишу 12-го вечером. Пока я тут сижу анахоретом, ты мотаешься по гостям, пьянствуешь и кокетничаешь! Завтра же приглашаю к себе казашку. Поеду в город, постригусь побреюсь, надену чистую рубашку и привезу казашку. “Отца его Нуака убил Абралы” – это из моего романа, перевёл 20 стр.

Я делаю страниц по пять в день. Я погрузился в негу востока, и даже если меня позовут ехать в Америку – не поеду. Серьёзно. Я очень рад, что один. Белый снег, и я один. Или сплю, или работаю. А иногда пойду немного вниз, там харчевня и жарят на улице шашлык. Поглужу шашлык и опять домой.

Ну, будь здорова. Что-то рассказа нет. Письма авиапочтой доходят на другой день. 2-е письмо сюда, которое ты опустила 10 XI, пришло 11 XI. А “Нестора” всё нет.

Скоро ещё напишу”.

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

В одном из следующих писем к нему я пыталась объяснить, что мне не удастся вырваться из института до конца семестра. Письма этого у меня нет, но вот на него Юрино ответное (начало не сохранилось):

“17-го ноября, вечер.

Я продолжаю неотправленное тебе письмо, я завтра всё отправлю. Я получил сегодня от тебя письмо, где ты пишешь, что не можешь ко мне приехать. Это, конечно, чепуха. Ты приедешь, как только я тебя позову. Причём приедешь на много дней. То, что тебе дают доцента, ничего не значит. Ты когда-нибудь станешь профессором. А Алма-Аты ты можешь не увидеть никогда. Кроме того, тебе здесь дадут работу, переведёшь рассказ, получишь рублей 100–150, и дорога покрыта.

Я сегодня получил перевод на 25 руб. Если это ты прислала, то большое спасибо. И мне совестно.

Я перешёл в другую комнату, потому что та комната, где я жил, выходила окнами на ту сторону, где шло строительство (прости эту фиговую фразу) Так же, как и ты, я соскучился, но дело в том, что мне будет очень плохо, если ты приедешь и уедешь, а я останусь. И я не хочу так. А я хочу, чтобы ты приехала, и мы с тобой пожили, а потом бы поехали вместе домой.

И поэтому я оттягиваю твой приезд. Я сделал пока очень мало. Скорее всего, ты приедешь сюда в начале декабря. Потому что я должен, наконец, покончить с переводом, а это дело длинное.

Завтра уезжает Домбровский, он тут жил почти 3 месяца, а завтра уезжает. Я очень рад, потому что Домбровский меня любит, а его любовь всегда выражается в выпивке, и мне надоело. Мой “Нестор и Кир” произвёл здесь большой шум. Редактор “Простора” сказал, что он прочёл его с “трепетным волнением”, но – всегда “но”! – говорит, что нужно “смягчить” что-то. Старушечка, мне очень плохо, вообще плохо, потому что, с одной стороны, мне надо пить-есть, мне и моим близким, и для этого нужны гроши, а с другой стороны, нужно писать, что я хочу и что повелевает мне моё глупое, но правдивое сердце. И вот если я слушаю сердце своё, я пишу “Нестора”, которого не печатают, зато все хвалят, а если мне надо пить-есть, то я печатаю “Плачу и рыдаю” или тому подобную ерунду, где ничего такого нет, и всем приятно.

Как мне быть?

Миленьяка, я понимаю, как тебе трудно и сложно уехать, но всё-таки, когда я тебя позову, – приезжай. Потому что я тебя всё-таки люблю. И ещё потому, что God is love – и я с тобой обручен навсегда, сколько бы ни было на земле красивых баб. Я в “Адаме и Еве” написал, что у него и неё есть история. Так вот, у нас с тобой есть история, ты мне своя, и хотя ты такая же стерва, в общем, как и все бабы, я к тебе прикипел. И мне очень грустно без тебя.

Целую тебя и обнимаю, и как-нибудь я тебе позвоню и закричу жалким голосом, чтобы ты немедленно прилетела, и ты должна прилететь, или я тут буду не человек, ясно? Миленьяка, думай обо мне! А я тебе в ответ напишу гениальное. Тут все плачут от “Осени в дуб. лесах”. А это мы с тобой. Дура, люби меня!”

Нашла ещё один листок, наверное, это вторая страница какого-то ещё потерянного письма:

“Откуда ты взяла, что я пьянствую? Денег нет, а то бы я не против, а даже совсем наоборот. А денег нет серьёзно, получил 25 рублей, из них 15 осталось, и всё. Ну, да фиг с ней, хочу домой, в Тарусу, куда угодно, к себе, в Бескудники. Очень надоело мне здесь, но держит роман. Я, может быть, пришлю тебе копчёной рыбы с Аральского моря. А потом пришлю яблок. Алма-атинского апорта. Вышел ли твой Уэллс и получила ли ты за него? – не думай, я не к тому, чтобы мне прислать, а хотя бы ты хорошо жила. Ты так давно без денег. А мне не надо, мне дадут, в крайнем случае. Если ехать тебе ко

мне – так не скоро, в конце декабря. Я, наверное, тут встречу и Новый год, а потом домой. Ты что-нибудь придумай, возьми “творческий” отпуск за свой счёт. Или забюллетень. Ну, будь здорова сегодня голова болит, простужаюсь я здесь, болел уже дня 4.

Потом ещё напишу. Ты бы хоть позвонила мне (по нижнему телефону)

Целую Юра

24 XI 64”.

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Это был конец ноября. Оба письма Юра писал в сильном подпитии, буквы так и пляшут, запятых часто нет. Но что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Юра никогда так горько не жаловался на тяжесть своего душевного и материального положения. А я не видела трагедии, денег нам с Юрой хватало. Одежду он кое-какую купил в Польше, так что ходил теперь прилично одетый. Но я тогда не ощущала всей глубины его творческих метаний и мук. Не считала ерундой его “Плачу и рыдаю”. Хорошо помню, с каким наслаждением он описывал природу в этом рассказе и с каким удовольствием впитывал в себя красоту весенней, пробуждающейся земли, когда на закате охотился под Тарусой.

12 декабря Юра пишет на машинке ещё одно письмо, самое последнее в той жизни:

“Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. . .

Над Алма-Атой висит дым. Там затопили тысячи печек. У нас в горах солнечно и чисто. И белый снег везде.

Значит, ты приезжаешь, вернее, прилетаешь 25-го – ориентировочно – плюс-минус один день. Но постарайся точно. Когда будешь покупать билет, узнай, когда самолёт прибывает в А-А по местному времени, ну и, конечно, номер рейса. И дай телеграмму. Билет купи дня за четыре и телеграмму дай. Я тут организую машину, и встречу тебя и привезу, и денег найду, чтобы заплатить в доме отдыха за тебя.

Теперь – что нужно взять с собой. Купи мандаринов. Купи мне бутылки “Столичной” водки. А то здесь неважная. Особенно тепло одеваться не надо, тут морозы небольшие. Возьми две пары туфель, лёгкие – для дома, и тёплые. Соответственно и чулки. Ну – кофту. Пару платьев. И ладно.

Прихвати из Москвы чего-нибудь вкусненького. Икорки, там... Огурчиков солёных, крепеньких. М. б., грибков... Мясного ничего не надо. Я мясо зрить не могу. Как только приехал сюда, всё время меня кормят мясом, на завтрак, обед и ужин. И во время декады тоже кормили мясом. Бешбармак, казы (конская колбаса), манты – наподобие пельменей. Только мясо баранье, рубленное и лук рубленный, и приготавливается не в воде, а в пару. Такая кастрюлька, внизу вода, посередке решётка, на решётку складываются манты, вода кипит, пар шумит и обваривает эти самые казы\*. Ты вот любишь делать пельмени, так мы тут купим эту штуку. Или нам её подарят. А мы возьмём, не погреем. Знаешь ли ты, что такое “гребать”? Это то же, что брезгать.

Захвати с собой какую-нибудь работёнку, чтобы время не проходило. Нас, видимо, поселят в такой комнате, где будет два стола, чтобы можно было работать одновременно. А я тебе пока добуду рассказик, который сразу пойдёт. Ибо у казахов есть противная черта – не платят вперёд денег, покарай их аллах!

Побываем в Аральске. В местах, о которых я “пишу” роман.

Попостись ты, ради бога! Похудей, ибо я не людоед, и мне не нужен твой вес, а – стройность. Какая ты была в Печорах. И Марфине. Сделай <“З” рукой исправлено на “С”> себе дня три разгрузочных. Рыбу не ешь, ну её на фик, отдай своим, если осталось что-нибудь. Мы тут её наедемся и ещё с собой привезём. Копчёных лещей. Я из своего казаха все жилы вымотаю. Будет знать потом, как переводиться.

Я тут не пью совсем уже дней десять. Сам даже удивляюсь. И не хочется даже. Решил погодить до Нового года. Но, конечно, с тобой выпью.

В общем, нам остаётся до встречи 2 недели, точнее, 13 дней, а когда ты получишь это письмо, будет и того меньше.

\* не казы, а манты.

Ну, до свиданья, моя радость. Целую.

12 дек. 64 <от руки> Юрий

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Вылетела я 30 декабря. 29 декабря получила телеграмму: “Ждём будем встречать ничего не забудь целую Юра”. Я с особым старанием собиралась в Алма-Ату. Ехала я не в деревню, как частное лицо, не в новые места, как любитель путешествий. А как жена писателя, в столицу республики, где предстоит видеться с важными лицами, писателями, местной интеллигенцией. Летели, кажется, пять часов. Приземлились в восемь утра по местному времени. Вылетели мы по Москве в час ночи. В самолёте темно, неудобно, я взяла с собой таблетки барбамила, чтобы спать всю дорогу. Рядом со мной сидел красивый суровой мужеской красотой мужчина лет сорока пяти. Он был членом ЦК партии Казахстана, ведал в том числе и культурой. Мы разговорились. Узнав, что я еду к Юрию Казакову, он стал мне в сердцах выговаривать, почему я так долго не ехала. Юрий Павлович переводит капитальный исторический роман о революции в Казахстане, книга имеет большую идеологическую ценность, он должен работать в спокойных условиях, а он весь извёлся, что не едет жена. Я рассказывала ему о своей преподавательской работе, про Юрины рассказы, как он их пишет, а он мне про Алма-Ату. Так я и не заметила, как мы прилетели, не заснула, хотя всё же выпила таблетку.

Юра меня встретил на машине с казённым шофером. Приехали в дом отдыха ЦК партии, расположенный на берегу реки Алма-Атинки, у подножья тамошних гор. Зимой в доме никто не отдыхал, пусто, темно, два-три человека обслуги. Юра обнадежил, что скоро нам дадут комнату в санатории Совета министров, выше в горах, и тоже на Алма-Атинке. Домбровский уже уехал, Юра показал мне счёт — шестьсот рублей. При том, что моя зарплата в институте была 180 рублей. Я так и ахнула, но Юра меня успокоил, сказал, что уже печатаются готовые главы в журналах “Простор” и “Дружба народов”, это даст хорошие деньги, и он сможет расплатиться. Столько напили за два месяца замечательные русские писатели, друзья по несчастью, Домбровский и Казаков.

Новый год встретили в каком-то учреждении. Там были официальные лица, писатели, актёры, автор Абдиджамил Нурпеисов с женой. Оба оказались приятными, интеллигентными людьми, жена — научный сотрудник научно-исследовательского института. У них много детей. Вообще, в казахских интеллигентных кругах было тогда принято заводить большие семьи. Это было не то чтобы модно. Абдиджамил объяснил, что это необходимо по соображениям культурным и политическим — казахская нация должна умножаться за счёт хорошо воспитанных, образованных людей.

Дня через три мы переехали в санаторий, он действовал всюду, отдыхающих было много. Находился он в горах, внизу шумела Алма-Атинка. На её берегу стояли юрты-кафе, где с утра до вечера готовили шашлыки и поблизости всегда пахло дымком. Скоро наша жизнь вошла в колею. У нас была большая светлая комната на втором этаже с двумя столами, двумя кроватями и даже с умывальником.

Наступил февраль. Южные склоны гор уже сильно припекало солнце, и на каменистых склонах стали выползать из неудобной для растений почвы толстые, как гусеницы, зеленовато-серые побеги. На северных склонах — белый чистый снег, на южных, на пригреве, — сочная травка, правда, для русского глаза довольно странная.

Мне пора было подумывать о возвращении в Москву, 7 февраля начинался второй семестр. Работа у Юры шла споро, но, чтобы её закончить, требовался ещё месяц. Юра категорически воспротивился моему отъезду в Москву. И сообща придумали такой выход: Союз писателей Казахстана сочинил официальную бумагу (отпечатано было на красивом, меловой бумаги бланке) для дирекции нашего института с просьбой дать мне месячный отпуск за свой счёт, так как моё присутствие необходимо в Алма-Ате “для укрепления культурных связей между Россией и Казахстаном”. Бумага был отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении, и скоро я получила из Москвы разрешение вернуться к работе 1 марта.

Эти два месяца Юра был кроток со мной, тих, не был груб даже в сильном подпитии. Зато Нурпеисову доставалось. Работа подходила к концу, скоро



уезжать, и Юре были нужны права. У Абдижамила всюду были большие связи, но и ему трудно было сделать для московского писателя права без экзаменов и взятки. И всё же это ему удалось – Юра очень на него давил.

И вот работа окончена, и пришло время уезжать...

## ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Обратно решили ехать поездом. Нам на троих купили четырёхместное купе. Мы с Юрой спали наверху, мама внизу. За четыре с лишним месяца у Юры набралось много друзей и поклонников. Чтобы избежать многолюдства на проводах, придумали сесть в поезд не на городском вокзале, а на товарной станции, в пригороде. Кажется, она называлась Алма-Ата-вторая. Приехали, поезд уже был подан и почему-то стоял довольно долго. Но и туда приехало много народу. Привезли всякой снеди и несчётное количество бутылок вина, к нашему с Устиньей Андреевной огорчению. Багажа у нас получилось много: чемоданы, картонные коробки с яблоками “алма-атинский апорт”, подарки. Ехали мы пять дней, долгое время за окнами пробегали только бесконечные пустынные степи с глиняными мазанками. Проехали Аральск, куда я так и не попала. В России пошли леса, ехать стало повеселее. Юра всё время пил, Устинья Андреевна пыталась протестовать, я целыми днями лежала наверху, читала или смотрела в окно. В Москве меня встретил мой отец, Юра с мамой взяли такси и уехали в Бескудниково, а мы покатали в Покровское-Стрешнево, везли подарки – яблоки и рыбу.

Устинья Андреевна в Москве закручинилась, и они с Юрой сразу же уехали в Тарусу, сняли там дом. В конце марта – звонок из Тарусы. Мама сломала ногу, перелом тяжёлый, я должна взять такси до Тарусы и немедленно ехать, убраться в доме и помочь вернуться в Москву, мать придёт положить в больницу. Приехала к вечеру. Вся комната заляпана белым гипсом, Устинья Андреевна держится молодцом, Юра расстроен. Он только что втянулся в своё писание. Вымыла я полы, стол, стулья, посуду. Сложили вещи, и Юра пошёл за такси. Ехали мы в этот раз через Калугу, хотелось повидать незнакомые места. Дорога оказалась значительно длиннее. Юра ехал с шофёром, мы – на заднем сиденье, Устинья Андреевна дремала. Я смотрела в окно, снег на полях был уже не пушистый, в солнечный день подтаивал, ночью вода замерзала, и на солнце поля переливались всеми цветами радуги.

Устинью Андреевну положили в Пятую городскую больницу, что на Ленинском проспекте, там она пролежала месяц. К счастью, больница была недалеко по московским масштабам от моего института, на метро всего одна остановка. Апрель был солнечный, тёплый. Я ездила в больницу через день-два, возила еду – творог, кефир, домашние котлеты. Юра писал и хлопотал маме и себе путёвку в Малеевку на май и июнь. Это было трудно, начался сезон, желающих среди писателей и их жён было много. Пришлось ждать. Устинью Андреевну уже выписывали из больницы, а везти её было некуда: в Бескудникове – однокомнатная квартира, на Арбате – комната в коммуналке. И у меня на Черняховского – одна пятнадцатиметровая комната. А нужен уход, питание, значит, только в Малеевку. Юра послал меня к главному врачу, просить, чтобы маму не выписывали ещё неделю, пока не дадут путёвку. Врач сочувственно отнёсся к моей просьбе, я подарила ему Юрину книгу – не как подношение, а свидетельство того, что Юра – замечательный писатель. Купила Устинья Андреевна костыли, и она стала учиться с ними ходить. Юра всё время был ласков, заботлив, жил то на Черняховского, то в Бескудниках. Наконец, наверное, в конце апреля Юра с мамой уехали в Малеевку.

О лете, пока он был в Москве, мы ни разу не заговаривали. Чтó было странно, но это я только теперь заметила. Ведь мы каждый год с самой зимы начинали думать, куда поедем летом. И прошедшей зимой Юра писал мне из Алма-Аты, что поедем на его машине по всем югам. В Алма-Ате было не до лета. А после того, как мама сломала ногу, о лете и совсем забылось. Может, потому, что Юре, как он полагал, предстоит всё лето ухаживать за ней. Но не в Малеевке же – туда на всё лето путёвку не получить! Значит, опять Подмосковье, но речи ни о чём пока не было.

Май начался с того, что Ира Смелли пригласила праздновать у неё Первое мая. Было приглашено всё моё семейство: мама, папа, сестра Таня, сын Дима, Юра, наши общие друзья Витя Тамохин и Юра Денисенко, заведующий

кафедрой (с ним мы учились с разницей в полгода на переводческом факультете). Вот мы и собрались все в её гостеприимном доме. Юра Казаков и Юра Денисенко, русские парни, оба не дураки выпить, сразу почувствовали друг к другу симпатию. Юра, зав. кафедрой, сказал: “Я всё думал, что ты миф, а ты, оказывается, и правда, есть”. Оба обнялись и смеялись. Что касается моих родителей, они уже давно принимали Юру как неизбежную данность. О том, что он пьёт, я им не говорила.

В тот же вечер у Иры мама с папой пригласили всех приехать к ним второго мая в Покровское-Стрешнево продолжать праздник.

И вот что произошло. Не помню, какая тогда у Юры была машина. Мне кажется, что “Москвич”, но сын мой, которому тогда было 13 лет, говорит, что “Запорожец”, потому что, как он помнит, именно из-за машины учинился скандал. Я сама не помню причины, но сын уверяет, что моя сестра Татьяна вдруг спросила у Юры:

— Почему это у вас, великого писателя, такая плохая машина?

И Юра, который был уже, как говорил один плотник, “хорошо хватя”, рассвирепел и стал площадно ругаться, чего в доме моих родителей никогда не было. Потом встал и, продолжая осыпать всех и вся бранью, нетвёрдой походкой двинулся к двери. Я пошла за ним. Мы были не на машине, пошли к автобусной остановке, и Юра всю дорогу не закрывал рта. Я жалела его, Таня затронула самое больное его место. Он действительно был великий писатель, талантливый, как никто, а у него такая хилая машинка, и вся писательская администрация относится к нему, как к третьесортному писателю, не способному подняться до великих социальных тем. Вот и сейчас еле-еле путёвку выпросил для больной матери. По-видимому, это было для Юры потрясением. Потому что сохранилось его письмо из Малеевки Виктору Конецкому:

“И спраздновал я тут 9 мая лучше всех, потому что был один. . . Потому что, когда ты один, есть возможность подумать. . . Ведь всё-таки мы существа мыслящие в некотором роде. И сидел я один на один с пол-литром “Московской”, изготовленной в пресветлом граде Калуге, и думал о фашизме. Не о фашистах, которые жгли, стреляли, тащили женщин к себе в постель, пили, сходили с ума, потом сами стрелялись, которые были потом убиты и разбиты и которые ещё сейчас многие живы во всех частях света, — нет, я думал о самом высшем фашизме, о средоточии его, о человеке, который, достигнув власти, всё подчиняет себе. Это не бесчисленные серо-зелёные солдаты шли на нас, это он их гнал, угрожая расстрелом. Это не генералы и штурмбанфюреры творили зло — зло творил он, потому что, дорвавшись до власти, он обожествовал себя и стал над нацией, над человечеством. Ничто не делалось помимо его воли, и никто ничего не мог решить за него. Как бы ни были крупны остальные фашисты, они могли в лучшем случае советовать ему, соглашаться с ним, подсказывать ему и исполнять его волю. И чем лучше они советовали и исполняли, тем всё более возвышались в его глазах и в собственных. Они даже становились, наконец, более фашистами, чем сам он, но всё равно он был главный. Но всё-таки не он был главное зло, а самое главное зло была система. Та система, при которой он мог зародиться, этот человек, этот вождь, диктатор, фюрер, мог подняться и существовать вопреки всему, во веки веков, пока он сам жив, потому что никаких демократий, никаких ограничителей при этой системе уже не было, и он не мог быть смещён. . .” (Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Это письмо точно указывает, что он продолжал писать какие-то куски той повести, о которой начал думать зимой в Тарусе ещё в 1962 году, когда ему было тридцать три года — возраст Иисуса Христа. Как-то у него это всё переплеталось. Возраст Иисуса Христа обязывал, он вспоминал своё отрочество, оно пришлось на войну. Воспоминания у него всегда были яркие, подробные, с годами они не выцветали. В этом особенность его прозы. Виденные им люди с их внешностью, характером, их поступки, события, происшествия оставались в кладовых его памяти на всю жизнь. Его рассказы истинное — картинное и поэтическое — свидетельство эпохи. Ему незачем было вводить в них исторические или социальные оценки, они дают достоверный материал для будущих историков, психологов, социологов.

И ещё: читая это письмо, чувствуешь, что настроение у него не такое, как было летом 1961 и 1962 годов. Взять для сравнения “Двое в декабре”: он опять ощущал себя одиноким.

Юра уехал в Малеевку, а я в конце мая — в Звенигород. Разговоров о лете всё ещё не было. Юра обещал приехать туда ко мне в первых числах июня. Не помню числа, когда это произошло, но точно до моего дня рождения. Значит, возможно, 5–6 июня. Юра приехал вечером, не сообщив точного дня приезда. Привёз водку и свежих огурцов, тогда их ещё не было (это ведь не наше время, когда огурцы круглый год). У меня был приготовлен какой-то ужин. Он сразу сел пить, стал быстро пьянеть. И посыпались пьяные обвинения, ругань, чего я не слыхала уже год. Мне трудно изложить Юрин пьяный бред, на самом деле, слова, которые изрыгались из его рта, — хрестоматийны. Они есть во всех книгах про алкоголизм. Он вставал, ходил, ложился и всё сетовал, что он такой несчастный, что у него такая скверная баба, у неё сын от другого. Пора ложиться спать, уже за полночь, а он совсем разошёлся. И тут, первый раз за пять лет, мне в голову пришло жестокое обвинение: “Ведь мог же Юра быть человеком, даже пьяный, когда я так была нужна его маме, без меня он сам ни с чем бы не справился. Я была нужна, и он мог управлять собой. А теперь, когда всё устроено, мама под присмотром в Малеевке, можно опять распуститься до бесчувствия”. Это меня потрясло. Это была не обида, а осознание какой-то чудовищной, несправедливой и непобедимой распущенности. Я очень хорошо это помню, потому что много раз возвращалась памятью к тому вечеру, ночи, утру. Я взяла раскладушку, поставила в коридоре и легла. Юра никогда не поднимал на меня руки. А тут подошёл, взялся за раскладушку и стал её опрокидывать. И тогда я сказала:

— Если ты не перестанешь безобразничать, я вызову милицию.

Юра ушёл в комнату. Лёг, часа два поспал. Потом вышел одетый в коридор и сказал:

— Прощай, старушка, я ухожу.

И пошёл к двери. Я вдогонку позвала его:

— Юра! — Он обернулся. И я прибавила: — Тебе будет стыдно.

Это были мои последние слова, сказанные ему в той жизни. Юра ничего не ответил и ушёл. А я легла поуютнее на раскладушке и заснула.

Проснулась часов в одиннадцать, вышла в сад. Был яркий июньский день. Всё сияло в лучах солнца: листья яблонь, белые венчики нарциссов, серебрились плакучие ветви большой ивы, благоухал расцветший куст розы-ругозы. Я оглядела весь этот благодатный мир, высокое бледно-голубое небо над головой, вздохнула полной грудью. И вдруг ощутила, что во мне больше нет ни капли этой болезни — любви к прекрасному русскому писателю Юрию Павловичу Казакову. Как будто её выключили. В этом было чей-то промысел, на моё счастье.

Уйдя в воспоминания, я сознаю, что, описывая те годы, я излагаю мысли, чувства и внешние события только одной стороны — свои собственные. Я не знаю, что думал и чувствовал Юра, что делал, когда, вернувшись в Москву, мы разъезжались по своим домам. И, конечно, я не знала, что делал Юра той весной и летом в Москве и Малеевке. Я просто об этом не думала. Сейчас же могу кое-что предположить. Когда мы вернулись из Алма-Аты, Юра не раз виделся с Ильей Ильичом Толстым, внуком или правнуком Льва Толстого. А у него, я знала из его письма, посланного в Алма-Ату, была уготована для Юры невеста, аспирантка филфака МГУ. Это была достойная невеста, по всем статьям: молодая красивая девушка из состоятельной минской семьи, отец — крупный общественный деятель. Она была сильно влюблена в Юру, да и сватал её не кто-нибудь, а потомок великого русского писателя Льва Толстого. Но тогда-то я ничего этого не знала. Юрину грубость отнесла только на счёт его пристрастия к алкоголю. А теперь думаю, что, познакомившись с этой девушкой и всё оценив, Юра оказался перед выбором. Очень непростым. Пять лет любви так просто не выбросить. Но пора остепениться, завести семью, своих детей. Более подходящую пару трудно найти, мать с отцом будут счастливы. Да и деньги теперь есть: можно купить в Подмосковье дом и зачинать семью. Но вот он приехал в Звенигород, увидел меня, близкое и дорогое существо, почувствовал прилив любви и вместе ненависти, ведь оно стояло сейчас на его дороге к полному человеческому счастью. И Юра сорвался. Но это я сейчас так думаю, возможно, никаких таких мыслей у него не было, а был он по привычке бессмысленно и тяжело пьян.

Но к его и моему счастью, моя любовь кончилась, и он мог не бояться, что я стану ему помехой. Вернувшись в Москву, я тут же купила себе и сыну

железнодорожные билеты, и мы уехали в Алушту, о чём Юра узнал, позвонив Ольге Петровне. Подумал, что я уехала с любовником, и решил, что моё терпение, наконец, лопнуло. В трезвые минуты он сознавал, как нелегко с ним жить и что когда-нибудь эта жизнь может стать нестерпимой. Юра сам мне это рассказал, когда позвонил в августе, и мы поехали на два дня в Ростов Ярославский.

Поняв по-своему мой отъезд, Юра вздохнул свободно. Что было с нами дальше? Про себя хорошо знаю. Что делал Юра, знаю от него самого и его матери, с которой я впоследствии несколько раз виделась. Два раза случайно, а после Юриной смерти ездила к ней по её приглашению.

Весь май и июнь Юра жил в Малеевке, и к нему туда приезжала его невеста. Устинья Андреевна говорила, что она предупреждала её: у Юры есть Марина. Наверное, предупреждала. Но у Юры занимались новая жизнь и любовь, и пять предыдущих лет, казалось, канули в прошлое.

Тем не менее, в августе или в конце июля он позвонил мне и позвал в Ростов Ярославский. Мы поехали. В Ростове, как раньше, стали искать место ночлега. Постучались в один дом, в другой, нам посоветовали толкнуться в соседний. Там живёт одинокая женщина и может пустить. Было уже темно, мы постучали, вышла немолодая худощавая женщина, мы ей представились, и она пустила нас.

В Ростове я поведала Юре, что ездила в Крым с сыном и подругами. А он рассказал, что чувствовал, покидая тогда Звенигород. Когда я его позвала, и он обернулся, он ожидал увидеть ласковое лицо и услышать слова примирения, ведь он приехал ко мне из Малеевки, привёз огурцы, хотел сделать салат. А у меня были ненавидящие глаза, таких моих глаз он никогда не видел. И такие же неожиданные были слова, поэтому он и ушёл. Так оно, наверное, и было. В чём, в чём, а в лукавстве Юру нельзя заподозрить. Говорил, что думал и чувствовал. Но ненависти в моих глазах не было, а было неопишное возмущение, которое он истолковал по-своему. Значит, всё же где-то в подсознании у него сидело, что я могла бы его возненавидеть.

Всю поездку Юра был трезвый, и у нас опять были родные и любовные отношения, как прежде. Только я больше не чувствовала от него зависимости, боязни потерять. Пошли в собор, хотели послушать колокольный звон. Звонарей не было, и мы только полюбовались белокаменной русской православной святыней. Потом сели на катер и поплыли на другую сторону озера Неро. Воздух был наполнен бледно-зеленоватыми подёнками, крошечными не то бабочками, не то стрекозами, которые живут всего один день, ими усыпана была и водяная гладь озера. Где-то пообедали, вернулись к хозяйке, попрощались и пошли на станцию. Было уже темно. Мы шли узкими одноэтажными улочками крошечного провинциального городка, и в темноте Юра рассказал мне, что у него уже есть женщина. Ещё он рассказал мне, что лежал в больнице. И я почему-то подумала, что эта девушка – какая-нибудь медсестра. Он не назвал её имени и говорил таким тоном, каким о невестах не говорят. А это была его невеста, Тамара, о которой в Алма-Ату писал Илья Ильич Толстой. Я это не почувствовала, но всё же отметила, что это не случайная связь. И сказала Юре: а что, если я найду её и расскажу об этой нашей поездке? Юра явно испугался.

– Не смей этого делать! – жёстко сказал он.

Я завершила его, что, конечно, и не подумаю её искать. В Москве, как всегда, разъехались каждый к себе домой. Ни о каких будущих встречах разговору не было.

А в середине ноября, может быть, в начале (помню только, что была холодная сырая погода), Юра опять позвонил, заехал за мной, и мы поехали куда-то поговорить. Юра выбрал Сокольники, там есть кафе, в тот час на верняка полупустое, то, что нам нужно. Было часов пять пополудни, холодно, капал дождь. Нашли это кафе – большое, дощатое строение, тёмное и пустое, работает последний день. Юра на машине, пить нельзя, заказали кофе, бутерброды, начался разговор. Юра сказал, что думает жениться, и перед ним вопрос, кого всё же выбрать: меня или ту девушку, с которой он сейчас живёт как с женой. Говорил, что наши пять лет зачеркнуть ему всё же трудно, но у этой его девушки много достоинств, в том числе – он у неё первый. Подробностей Юра не касался. Я слушала его и взвешивала: так вот взять и отказать от него я не могу, потому что я за него всё же в ответе. Он пьёт,

от этого никуда не денешься. Наверное, его новая подруга не подозревает истинного положения дел. А я-то знаю. И я сказала Юре, что готова начать всё сначала при одном условии: он завтра же начнёт лечиться от пьянства. На что Юра ответил, поморщившись:

– Вот ты как заговорила!

На том наша беседа и кончилась.

Вскоре после этого Юра женился, а через год вышла замуж и я. За годы до его смерти мы встретились случайно всего два раза – в ЦДЛ. Была и ещё одна встреча – летом 1967 года. Юра позвонил мне – он ходил в поликлинику Литфонда, что в соседнем с моим подъездом. Я вышла, он предложил покататься по Москве. И мы поехали. У него был с собой кулёк конфет “Мишка”. Он угостил меня одной. Едем, он говорит: можно я тебя поцелую? Я ответила отказом. Сказала, что это будет ударом для моего мужа.

– Но ведь он не узнает, – сказал Юра.

– Это всё равно, – ответила я.

– Тогда можно понюхать твои волосы?

– Это можно.

Я потому так подробно всё это рассказываю, что мне самой важно исследовать, почему, действительно, мы с Юрой расстались. Пьянство тому виной, Юрина мать, которая, как все матери, хотела Юре крепкого семейного счастья? У меня нет ответа. Я поняла только одно. Если есть настоящая любовь, – по сердцу, по уму, по общим склонностям и устремлениям, – то её надо беречь, как зеницу ока. Она превыше и преважней всего. Моя к Юре любовь погибла, как гибнет от мороза цветок. Юрина любовь ко мне не погибла, она только ушла под землю, а когда схлынул наносный слой, она ожила и сидела в Юре всю жизнь.

В июне 1966 года я получила такое письмо:

“Здравствуй, старушка!

Я вдруг вспомнил, что у тебя 14-го июня день рождения. Хороший, хороший у тебя день! Июнь в разгаре, светлые ночи. В лесу фиалки. Поспела земляника. Вообще этот год весь ранний. Ранняя весна. Ранняя Пасха. Ранняя Троица. 31 мая мы нашли первые белые грибы – 10 штук.

Отличный у тебя день рождения!

А я сижу снова в Тарусе. Но я как-то потерял вкус к этим местам. Не то чтобы мне здесь разонравилось, но исчезла прелесть первого узнавания. Надо бы, конечно, поискать нового места, но некогда было.

А хорошо всегда – новое место! Всё незнакомое и прекрасно своей неизвестностью.

У меня новость – собака. Купил я его двухнедельным щенком. Белый с рыжими усами, с рыжим пятнышком на спине, с рыжим хвостиком и веснушками на ногах и на морде. Только три чёрные точки. Нос и глаза. Спаниель. Королевских кровей. Когда я его купил и получил родословную, то с удивлением обнаружил, что его прабабка – “Штука”, а владелец – И. И. Толстой. Я сразу – к Толстому. Оказывается, эта Штука была вывезена югославским послом из королевского питомника и подарена потом Толстому. От неё произошёл потом мой сукин сын. Сейчас ему три месяца на днях стукнет. Вся жизнь его прошла на моих глазах. И вот теперь, бросив все свои дела, я принимаюсь за книжку о нём для детей. Весёлая будет книжка! А зовут его Чиф. Это так старших помощников капитанов зовут моряки.

Ну, будь здорова и счастлива в твой день. 37 – прекрасный возраст. Чудный возраст. Это как благоухающий фиалками июньский лес. Это не апрель, не май и не июнь. Июнь, старуха! Нет, ты не июнь, ты земляника.

Вот съешь это земляничное поздравление и прощай.

Ю. К.

Таруса.

Подарок тебе заказан, и если ты не уедешь на лето, ты его получишь. Из Архангельска”.

Вот такое письмо. Сдержанное, с лёгким воспоминанием о нашем походе в тарусские леса, по ночам благоухающие ночными фиалками. С признанием, что новое всегда хорошо. Это или о том, каким новым всё было для нас

вокруг Тарусы, или намёк на то, что ему сейчас хорошо, потому что всё новое (другая женщина) прекрасно своей неизвестностью. Как хочешь, так и понимай. Я всё же склоняюсь к первому пониманию, Юра один из тех редких людей, у которых нет задних мыслей. Я на это письмо ничего не ответила и подарка не получила. В то лето мы с моим будущим мужем уехали под Новороссийск, где жили в палатке на берегу моря. Рядом со мной был молодой здоровый мужчина, который легко взял на себя все дорожные и бытовые заботы. Он окончил МИФИ, факультет теоретической физики. И сказал однажды, что ему нужна умная жена, а до сих пор по-настоящему умные женщины ему не встречались. Теперь он встретил и готов быть для меня всем, хоть секретарём, хоть мужем. Так мы и поженились, хотя нам пришлось в загсе выдержать испытание – собеседование на предмет выяснения истинности наших чувств. Две милые пожилые женщины, убедившись, что Саша, спокойный, твёрдый, уверенный в себе человек долга – на нём это написано, – и правда меня любит, напутствовали его словами “берегите её”. И даже дали пригласительные билеты в магазин для новобрачных, хотя у меня это был второй брак, а таким новобрачным дешёвый подарочный магазин не полагался. И мы купили наручные часы, которые потом долго-долго мне служили. Думаю, что Юра такого собеседования не проходил, хотя он был старше своей невесты примерно на столько же лет, на сколько я старше моего мужа.

Судя по тому письму, Юра был счастлив и доволен семейной жизнью. Из подписи исчезло “твой”. Его новая жизнь, на самом деле, началась прекрасно. Это мне рассказала Устинья Андреевна, когда мы случайно встретились с ней в электричке. Она ехала в свой загородный дом, который Юра купил на деньги, полученные за различные публикации романа Нурпеисова “Кровь и пот”. Дом этот был в Абрамцево, в дачном посёлке академиков. А я ехала к себе в деревенский дом, купленный за перевод “Знака четырёх” Конана Дойла. У меня была бревенчатая изба под Александровом, по той же Ярославской дороге, на краю деревеньки Юрцово, при ней – пятнадцать соток земли, все засаженные картофелем. Это был, наверное, 1976 год. И из слов Устиньи Андреевны я поняла, что Юра к этому времени уже расстался с семьёй и жил в абрамцевском доме один. Вот что я от неё узнала.

Сначала всё шло хорошо. Тамара разобрала сразу все Юрины рукописи, бумаги. В Абрамцево посадили розы, Юра сделал овощные грядки. Жили дружно и счастливо, Союз писателей дал Юре хорошую квартиру. И вот однажды Юра вернулся с дачи домой, жены нет, и он спросил сына, которому было, наверное, года четыре, как мама. А тот говорит:

- Мама хорошо, к ней дядя Вася приходит.
- Что они делают? – спрашивает Юра.
- Обнимаются и целуются, – отвечает мальчик.

Надо знать Юру, чтобы догадаться, что могло произойти после таких слов. Он был болезненно ревнив. И он тут же, не сказав ни слова, уехал обратно в Абрамцево. Тамара за ним. Все уговоры – и её, и матери – оказались напрасны. Так объяснила мне причину развода Устинья Андреевна и рассказала ещё подробность. В тот день она сварила курицу. И когда Тамара приехала, она стала звать Юру всем вместе обедать. Юра не вышел и ничего не стал есть. “Они забрали сына и не дают ему видаться с ним, а Юра очень любит мальчика”, – прибавила ещё Устинья Андреевна. Я возмутилась: да мало ли что мог сказать ребёнок! Дружья ведь при встрече могут обняться и поцеловаться. Устинья Андреевна кивнула: “Мы ему то же самое говорили, а он ни в какую”. Потом она спросила, как я живу с мужем. Вздохнув, сказала: “И от четверых уходят, и с двумя берут”. И ещё попросила познакомить Юру с какой-нибудь молодой, добропорядочной женщиной, лет тридцати. Вышла она в Абрамцево, а я поехала дальше, в Александров.

Я подумала: сочинить эту историю Устинья Андреевна не могла, зачем? Наверное, что-то похожее в жизни было. Но не могло оно стать причиной развала хорошей семьи. Ревность ревностью, но главная беда, думаю, была в том, что Юра всё сильнее втягивался в пьянство, иначе просто не могло быть. Процесс обычный, описанный во всех исследованиях. 23 февраля 1964 года в письме английскому редактору, пожелавшему включить в сборник Юриных рассказов его автобиографию, Юра говорит: “Все годы я много ездил. Вообще мне кажется, что я хорошо жил, что так и надо жить писателю. Тогда я почти не пил (теперь я выпиваю, но хочу бросить, это мешает, когда

много пьёшь, и вообще писателю нужно быть здоровым) <...>” Судя по этим словам, Юра отдавал себе отчёт в том, что происходит. Его семейная жизнь началась года через два после того февраля. А в тот промежуток времени было четыре месяца Алма-Аты с почти ежедневными возлияниями до положения риз. Нас постоянно приглашали то в один богатый гостеприимный дом, то в другой. Может, какое-то затишье в первые семейные годы и было. Из того, что я знаю, с женой ему действительно повезло. Именно такой должна быть жена писателя: знать толк в литературе, держать в порядке все его рукописи, архив, родить сына, заниматься огородом и садом, быть всегда рядом с ним – всё это было в Юриной семейной жизни. И, думаю, не он рассердился и ушёл, а ей с маленьким сыном стало невыносимо жить с ним под одной крышей. Возможно, и Юрина мать не была подарком в семейной жизни.

Помню, в 70-е годы начал вдруг работать семинар художественных переводчиков, занятия проходили в ЦДЛ. Однажды иду через ресторанный зал и вижу за столиком Юру и Николая Владимировича Богданова, детского писателя, – с ним и его женой Верой Дмитриевной мы с Юрой дружили в Тарусе и в Москве. Я подошла к ним, Николай Владимирович тотчас встал и ушёл. В первый миг нас с Юрой захлестнула волна радости, как будто не было ушедших пятнадцати лет. Я села. Юра был уже сильно пьян. Поговорили немного, я сказала, почему я здесь. Должна признаться, что всякий раз, как мы выходили из комнаты, где заседал семинар, я, глядя сверху, искала в ресторане глазами Юру, и вот мы встретились. Юра повёз меня на такси домой. По дороге сказал те самые слова: “Я должен был на тебе жениться, твоя мама любила меня. А тёща, когда мы разводились, сказала, что даже стул пополам поделит”. Это единственное, что я помню из того разговора в такси. И это был наш с Юрой самый последний разговор. Вид у него был обрюзгший, говорил он, как говорят очень пьяные люди. И у меня не было сожаления, что мы тогда, в июне 65-го, расстались.

Так продолжалось семнадцать лет, до смерти Юры.

И только, услышав в автобусе, который вёз нас на кладбище, слова: “Была бы жизнь, была бы со мной Марина”, – я как будто очнулась. Подумала: а если бы у меня хватило “терпения и любви” (слова из молитвы Ефрема Сирина), и мы с Устиньей Андреевной справились бы с губительной страстью, неужели и правда Юра продолжал бы писать свои великолепные рассказы и не ушёл бы из жизни так рано? Мы опять возвращаемся к главной загадке бытия, которая мучила Гамлета, так и не нашедшего на неё ответа. Верна ли мысль: “Наш замысел – исход его не наш”, – и ещё: “Так божество наш замысел вершит // своею волей, нам наперекор”. Я как-то рассказала об этом мучительном сомнении моей внучке Лизе, она всплеснула руками: “Бабушка, да ведь нас бы не было, если бы вы не расстались!” Да, это утешение: “Наш замысел – исход его не наш”...